



НИНА ХАЛИКОВА

В НАДЕЖДЕ
НА ЛУЧШЕЕ
ПРОШЛОЕ

Нина Халикова

В надежде на лучшее прошлое

«Фонд развития конфликтологии»

2016

УДК 82-311.1
ББК 84(Рос=Рус)6

Халикова Н. Н.

В надежде на лучшее прошлое / Н. Н. Халикова — «Фонд развития конфликтологии», 2016

ISBN 978-5-4386-1173-8

Второй роман практикующего психолога Нины Халиковой «В надежде на лучшее прошлое» посвящен женским судьбам. В центре романа две истории: одна развивается в Петербурге в наши дни, другая – в революционном Петрограде и в эмиграции. Обе героини, пытаясь обрести душевное спокойствие, обращаются за помощью к психологу. Помогут ли сеансы глубинной психологии изжить детские травмы, неудавшийся опыт семейной жизни, сложности с самооценкой? Возможно ли изменить прошлое и обрести истинную любовь?

УДК 82-311.1
ББК 84(Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4386-1173-8

© Халикова Н. Н., 2016
© Фонд развития
конфликтологии, 2016

Содержание

I	6
II	13
III	16
IV	26
V	31
VI	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Нина Халикова

В надежде на лучшее прошлое

© Халикова Н., 2016

Фантазии и реальность. История двух женщин, живших в разное время, но оказавшихся одинаково бессильными перед тяготами судьбы. В формате художественного текста я пыталась показать, насколько глубинная психология способна помочь человеку осознать собственную реальность, не отрицать её, не уходить от неё, не заглушать её, а принимать и, познавая ясное видение жизни, продолжать свой истинный путь.

На этих страницах вымышленные персонажи встречаются с реальными. Так, психотерапевт вымышленной Марии Лытневской – реальная историческая фигура, французский учёный Пьер Мария Феликс Жане, живший и практиковавший в Париже как раз в описываемое время. Его выражения и мысли, высказанные в диалогах с пациенткой, в большинстве своём подлинны и взяты мной из его трудов, таких как «Психический автоматизм», «Психологическая эволюция личности». Подруга Марии Лытневской, Марина Ивановна, – это Марина Цветаева. В той части книги, где женщины ненадолго встречаются в Праге и Париже, сама Мария Лытневская неосознанно, пусть и ненадолго, пытается выполнять функцию психолога и служит своеобразным крохотным входом в психику Цветаевой, помогая тем самым составить представление о её психике, приоткрывая некоторые её проблемы. Я пыталась выстраивать их диалог именно с точки зрения детской психологической травмы, повлиявшей на установившиеся взгляды и дальнейшую жизнь, а не самого творчества. Подобные встречи на самом деле могли произойти в октябре 1923 года, когда Цветаева действительно жила в Праге и была страстно влюблена в К. Родзевича, впоследствии отказавшегося от неё, и в ноябре 1937 года в Париже. Все слова, мысли, фразы Цветаевой сугубо документальны и взяты из её личной переписки, а также ряда автобиографических произведений, таких как «Мать и музыка», «Живое о живом», «Мой Пушкин». Я старалась соблюдать точность и в описании жизни и быта семьи Волошиных, здесь использовались книги Л. Фейнберга «Три лета в гостях у Волошина», Э. Миндлина «Необыкновенные собеседники», М. Волошина «Женская поэзия».

Как глубинный психолог, я пыталась психотерапевтически спасти от распада двух моих вымышленных героинь, Марию Лытневскую и её правнучку Марину Елецкую (современное воплощение гуманизма и добродетели, русской интеллигенции, изрядно пострадавшей и видоизменившейся после событий 1917 года), наглядно демонстрируя возможности психологической работы. Каждая из этих женщин, столкнувшись с тяжёлыми проблемами своего прошлого, прибегла к помощи психологии, коей когда-то не суждено было воспользоваться Марине Цветаевой, оставшейся один на один со своим прошлым.

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

Данте

I

Идея Аристотеля об обладании серединной ровностью окутана густым туманом слишком общих, обволакивающих, хотя и довольно красивых, слов. Так, к примеру, мужество – это обладание серединой между страхом и отвагой, а щедрость – это середина между мотовством и скупостью. На словах всё оказывается довольно просто. «Можно стремиться к чести столько, сколько следует, а также больше и меньше, чем следует». Что же посередине? Да и вообще, где находится эта самая середина, как же ее определить? Где бесчестие и вседозволенность превращаются в пытку и для себя, и особенно для других? Чем ученик Платона отмерял эту середину? Ложь и правда, честность (истину трогать вообще не будем) – полярные противоположности, но как быть с ложными представлениями о мире, в плену которых мы все находимся? Религия трактует мир по-своему, совсем не так, как Эйнштейн или Дарвин, и выходит, что правда у каждого своя, и с этим приходится считаться. А сказать не всю правду – значит ли это солгать? Или нет? А как же быть с искренними заблуждениями и непреднамеренными ошибками? Ведь даже то, что внешне кажется вполне правдоподобным, не обязательно является правдой или справедливостью, и даже самая высокая вероятность чего бы то ни было не защищает нас от ошибки.

Идем дальше. Порок и добродетель – понятия слишком пластичные и взаимопроникающие. Аристотель считал, что нравственная добродетель состоит в обладании серединой между двумя пороками, один из которых состоит в избытке нравственности, а другой, соответственно, в ее недостатке. Слова, Слова с большой буквы. Как отыскать середину в каждом отдельном случае? Он и сам, по правде сказать, считает, что это дело чрезвычайно трудное. Выходит тупик. Найти середину между этими крайностями невозможно, они ведь непрерывно соприкасаются, видоизменяются, и совсем непонятно, на чем остановиться. Да, кажется, это повод для бесконечных рассуждений. Это дело не просто трудное, а даже запутанное, ибо середина у каждого своя, и грани ее, мягко говоря, размыты. То, что для одного еще пока находится в рамках добродетели, для другого уже давно перешло границы порока. Для самой же добродетели губительны как недостаток, так и излишество. Отлично, чем же будем мерить недостаток и излишество? А возможно ли, уместно ли говорить об обладании серединной ровностью в проявлении страстей, наслаждений, чувственных удовольствий? Скорее всего, их следует отнести к порокам, от греха подальше, и не искать никакой середины, поскольку здесь ее определить будет максимально сложно. Стоп, стоп. Зачем же сразу к порокам? Ведь страсть – это скорее несчастье или рок, но не порок и не грех. Да, конечно, не грех, во всяком случае, так удобнее, так легче думать. Возможно, любовная страсть – это просто страшный недуг, но он двигатель жизни, причина жизни на земле. А конфликт страсти и нравственного долга во все времена были неразрешимой внутренней дилеммой. Аристотель вообще считает, что нужно остерегаться удовольствий и того, что их доставляет. Выходит, если отдалять себя от удовольствий, то и порочных проступков будет совершенно меньше. Аристотель, к сожалению, забыл сообщить, как освободиться от этих самых желаний.

Олег знал, что освободиться от желаний можно, лишь до тошноты пресытившись ими, но это неправильный, если можно так выразиться, очень даже нефилософский подход. Либо, в качестве альтернативы, податься в буддийские монахи, а это уже, как ни крути, крайности.

Олег Васильевич Костин в одиночестве сидел на кухне в домашних тапках на босу ногу и пил третью чашку растворимого, дурно пахнущего кофе. И думал о том, что эта самая растворимая бурда – такая же отвратительная муть, как и его жизнь в последние годы. Олег лениво перелистывал потрепанный томик античного философа, не скрывая своего глубокого недоверия к философии. Он размышлял сам с собой, пытаясь таким образом себя успокоить и хоть как-то прояснить надоевшую трагикомедию, происходившую в его жизни, которая незаметно

переросла в скучнейшую драму. Было бы несправедливо сказать, что жизнь или природа чем-то обделила Олега Васильевича, однако последние несколько лет он чувствовал себя отвратительно.

На полу, в ногах, примостился старый пес Вергилий, грел об Олега свои худые, ввалившиеся бока. Ещё будучи щенком, он неотступно следовал за Олегом, сопровождая его по всей квартире, за что его и нарекли соответственно. Олегу льстила безропотная привязанность пса, и он видел в ней свой пропуск в мир добродетели. Ведь если собаки любят только хороших людей, стало быть, он, Олег, прекраснейший человек. Природу не обманешь.

В этом году Олегу Васильевичу исполнилось пятьдесят два, и вот уже почти пять лет как он с завидным упорством делит свое драгоценное время и силы между двумя женщинами, женой и... ну, словом, совсем не женой. Он для себя до сих пор не смог определить, кем для него является Марина Елецкая – подругой, любовницей или кем-то еще. Понятие «подруга» кажется, отдает дружбой и пониманием, чего и в помине не было в их отношениях, слово «любовница» как будто говорит о некой любви, чем тоже нельзя похвастаться, во всяком случае, с его стороны.

Марина была молодой, здоровой, крепкой женщиной, с большими белыми руками, на тринадцать лет моложе Олега Васильевича. Она прямо-таки притягивала его своей жизненной силой, какая часто встречается у женщин из простонародья. Впрочем, она иногда плела ему небылицы о своем высоком происхождении, но Олег пропускал мимо ушей ее рассказы про бабушку, уехавшую в молодости в Париж и скромно доживающую там остаток дней, не сильно нуждающуюся, но, как и полагается, страдающую от одиночества. Ему, как истинному цинику, было забавно наблюдать это распространенное стремление обзавестись приличным прошлым и блестящей родословной. В последнее время – удивительное дело – у всех стали появляться высокородные родственники. Просто шагу не ступить, чтобы не столкнуться с отпрыском древней, аристократической фамилии. Радостнее было думать, что его Марина – простая русская женщина с нежной кожей и детским пушком на щеках и над верхней губой. Восхитительные волосы, круглое лицо и никаких диет. Олег благодарил Бога за то, что сохранились такие вот женщины с их первозданной, природной красотой, не замаранные инъекциями, отдельным питанием и прочими глупостями, портящими женскую природу. Поначалу ему просто нравилось согреваться у ее большой, нежной, почти материнской груди, нравилась ее благопристойность и финансовая непритязательность, иногда ему даже казалось, что он влюблен в нее. Правда, мысль эту он старался гнать подальше от себя, считая её непозволительной блажью для современного, взрослого мужчины.

Сама Марина, Олег был в этом просто уверен, любила его жадной, ненасытной любовью одинокой разведенной женщины и всячески старалась женить на себе. Из этого следует вывод, что ее можно называть любовницей. От этой мысли он криво поморщился, словно от зубной боли. В последнее время обе женщины – и жена Татьяна, и любовница Марина – вцепились в него мертвой хваткой, ловили на лжи, зорко что-то в нем высматривали, заводили неприятные разговоры и ссорились. Олег старался соблюдать спокойствие, улыбался им, раскланивался и заискивал. Их надоедливая ревность в общем не пугала Олега Васильевича, скорее, ему было любопытно наблюдать, как они старательно расставляют свои ловушки и капканы в надежде на успех. Временами он видел в себе самом вершителя судеб, от одного слова которого зависит их женское счастье. Мысль эта и колола, и убаюкивала одновременно, но все же была приятной. И он, снисходительно посмеиваясь, продолжал наблюдать за их копошением, сравнивая себя с Гуливером, попавшим в страну лилипутов. Чувствовал он себя всесильным и непобедимым рядом со своими крохотными и беспомощными женщинами, отчаянно предпринимающими все новые и новые попытки его связать. Строго говоря, жить это ему не мешало, и он этому не препятствовал. Временами ему хотелось порвать то с одной, то с другой женщиной. Его даже посещала мысль о холостяцкой жизни и радостях свободы, которые она дарует, но подобных

идей он побаивался. Свобода мужчины, живущего в одиночестве, не привлекала Олега Васильевича и не вызывала в нем головокружительного опьянения. Женское тело для него было продолжением материнской утробы, и только рядом с женщиной, неважно какой, он чувствовал безопасность и гармонию.

Сегодня Олег Васильевич снова вернулся домой после полуночи. Супруга уже спала или, как всегда, старательно притворялась спящей. Ему нестерпимо хотелось почувствовать вкус свежемолотого кофе, но включить среди ночи кофемолку означало разбудить супругу, и тогда придется прятаться от ее укоряющего взора. Он тоскливо вглядывался в дремотную тишину улицы за окном, с тускло мерцающим одиноким фонарем, и предавался своим невеселым думам. Сказать жене о существовании другой женщины или же разорвать отношения с Мариной? Он оказался перед выбором, перед нелегким, мучительным выбором. Можно ведь все оставить как есть, занять наблюдательную позицию, но тогда ему придется снова и снова возвращаться домой за полночь, воровато отсиживаться на кухне, давясь всякой отравой. Отказаться от выбора – это ведь тоже выбор. Скорее всего, он так и поступит, правда, с его последствиями ему придется столкнуться не теперь, позже. Ну и ладно.

Олегу нестерпимо хотелось покоя, обладание серединной ровностью античного философа ему пригодилось бы как нельзя кстати. Только вот как ее достичь? По правде сказать, живя во лжи, он достиг ощутимых результатов, научившись блестяще обманывать не только женщин, но и себя самого. Ему нравилось себя обманывать. Он жил долгие годы уютно и безопасно под покровом собственной лжи, как под ватным одеялом в мороз. Ведь холод реальности – это тяжелое испытание, и даже очень смелым правдолюбцам к нему необходимо подготовиться. После пятидесяти лет ему показалось, что он как будто готов к переменам, ему отчего-то стал надоедать путь лжи и предательства, и потребовалась остановка.

Философию сложно применять в жизни, а уж античная она или современная, не имеет значения. «Все эти пространные рассуждения о золотой середине еще больше запутывают, совершенно не принося ясности», – раздраженно бубнил себе под нос Олег Васильевич.

Не удовлетворившись остывшим, отдающим кислятиной кофе, он налил солидную порцию виски в широкий стеклянный стакан и выпил в один глоток на вздохе, довольно громко выдохнув и икнув.

В кухню неслышно и робко, как виноватая, вошла супруга Татьяна Юрьевна и неуверенно села на краешек стула. Она была на год моложе мужа, но выглядела значительно старше его. Татьяна Юрьевна была все еще стройна и красива последней, предзакатной красотой, подернутой той особенной грустью, которая все еще веет ускользающей радостью и которую так трудно удержать женщине, особенно после пятидесяти. Лицо ее было бледно, тонкие черты болезненно заострились. Она смотрела себе на колени, словно в них было что-то привлекающее ее внимание, а затем, покусывая изнутри и без того впалые стареющие щеки, принялась стряхивать с колен невидимые соринки. Олег Васильевич знал ее тактику ведения боя и внутренне крепко выругался. Он смотрел на нее с раздражением, недоумевая, куда же подевалось то блаженное ощущение счастья, которое он испытывал каждый раз, встречая ее, в их давно ушедшей юности. Что же делает с пылкими чувствами узаконенная любовь, как ловко она их истребляет. Сейчас у него было тяжело на душе от ее присутствия. Старый пес Вергилий, почуяв неладное, тяжело поднялся, покрутил лохматой башкой и деликатно удалился, подгибая лысеющий хвост. Олег проводил взглядом своего тактичного друга, а потом вызывающе уставился на жену.

Татьяна неловко закурила, часто затягиваясь и некрасиво, по-мужски выпуская дым через нос. Она избегала смотреть на Олега, пристально разглядывая черноту не задернутого шторами окна. Олег знал эту необходимую увертюру, вступление, за которым следует первый акт. Такие спектакли вызывали у него безумное желание расхохотаться ей в лицо и одновременно ненависть с едким привкусом собственной вины.

Вдруг Татьяна Юрьевна резко затушила недокурную сигарету о блюдце, на котором стояла чашка мужа с растворимой бурдой, и, уронив голову на колени Олега, жадно зарыдала. Ему не пришло в голову поднять ее и усадить на стул, все, что он мог сделать, – это положить свои вспотевшие от напряжения ладони на ее все еще прекрасные непослушные волосы и легонько их поглаживать. Ее плечи, уже тронутые предательскими коричневыми пятнышками, по-детски часто вздрагивали и тряслись. Уж он-то понимал, преддверием чего были эти слезы и что за ними последует. Он склонился над ней, стал осторожно обнимать ее за плечи, слегка прикасаясь губами к приятно пахнущим волосам. Она казалось, утешилась, проворно встала с колен и посмотрела на него горящим, сверкающим взглядом, как будто сию минуту хотела передать глазами все, что накопилось в душе, а затем спокойно сказала:

– Ты нужен мне.

– Чего же ты плачешь?

– Я знаю, ты был с этой женщиной. С этой... суч... С этой женщиной.

Остатки хорошего воспитания, видимо, не позволили ей высказаться прямолинейно.

– Только прошу, не опускайся до вульгарностей, тебе это совсем не к лицу, – прикрикнул на нее Олег.

Он тяжело поднялся на ватных ногах и настезь распахнул окно, за которым заговорщицки шептались деревья, и, если протянуть руку, можно было ощутить свежую росу, колебались огни редко проезжающих машин, и ему даже показалось, что с улицы в это самое открытое окно повеяло молодостью и свободой. Как его неодолимо потянуло сейчас же окунуться в эту зовущую прохладу, в этот свет низкой, поздней луны, обещающей новую жизнь без томительного страха перед принятием решения. Он стоял, смотрел в пустоту и чувствовал, как тяжелая туча, плывшая из глубины его мозга, начинает застилать глаза. Он с силой и злостью захлопнул оконную раму, налил виски в стакан, мгновенно опрокинул содержимое в себя и, слегка покраснев, сел на прежнее место. Он уловил, как нескончаемо часто пульсирует его голова и по спине катится капля пота. После выпитого виски и ее слез мысли Олега пребывали в полном тупике, отчего сердце жестоко колотилось. Олег приготовился к длинному объяснению: где он был, что делал, и все такое прочее, желательно с мельчайшими подробностями. Жена взглянула ему в лицо и странно, истерически расхохоталась:

– Расскажи, как ты проводишь с ней время, и не отпирайся, я все знаю.

– Тань, опомнись, что такое ты говоришь? Мне уже пошел шестой десяток, какие женщины? Они мне и раньше-то были не нужны, я всегда был однолюбом, а уж теперь, кроме охоты и работы, меня вообще ничего не интересует. Я старею, вот такая странная штука время. Ты что же, думаешь, деньги берутся из воздуха, или мне их любовницы одалживают? Ты, птичка моя, когда машины меняешь или шубки покупаешь, особенно не интересуешься, какое количество времени должен потратить в трудах праведных твой муж, чтобы ты могла пробежаться по магазинам. Я всерьез занимаюсь своим заводом, и на это, как ни странно, уходит уйма времени.

Она с недоверием взглянула на него, и он тотчас понял, что теперь, по установленному регламенту, пришло время ей из жертвы превратиться в палача, правда, ненадолго, а затем вновь стать жертвой. Его уставшие глаза злобно заблестели от возмущения и выпитого виски. Мысленно он послал ее ко всем чертям. «Они делают больно мне, я делаю больно им, или наоборот и по кругу, – думал Олег Васильевич, – такова жизнь».

– Если ты не скажешь правду, я ведь не смогу тебя уважать. Я все расскажу детям. Пусть знают, какое дерьмо их отец, – сказала она дребезжащим, старушечьим голосом, от которого у Олега зазвенело в ушах.

«Медея ты моя ненаглядная, как мне страшно от твоих угроз! Да и плевать же я хотел на твое уважение, – подумал он, – лучше бы дала мне выспаться как следует».

– Олежек, я родила для тебя двух детей, сына и дочь. Дети, как известно, рождаются от любви. Ты должен с этим считаться, – более мягко и даже нежно сказала Татьяна Юрьевна. Когда на него не действовали сцены ревности, она это видела, и сразу меняла тактику.

Вот это уже запрещенный прием. Она всегда любила манипулировать Олегом с помощью детей, особенно когда они были маленькие, а их появление на свет ставила себе в исключительную заслугу. По ее уверениям, она их родила не потому, что она была молода и красива, и не потому, что ее пышущее здоровьем тело просило материнства, и не оттого, что ее инстинкты кричали ей о том же, а, видите ли, она их родила исключительно «ради него» и «для него». Слова, Слова. «Дети рождаются не от любви, а от того, что проворный сперматозоид оплодотворил готовую яйцеклетку, кажется, так», – все так же устало думал Олег. Ему вовсе не хотелось начинать копать в этой сентиментальной чепухе, кто кому кого родил, когда и зачем, и что из этого следует. Сейчас она примется рассказывать, что принесла на жертвенный алтарь всю свою жизнь. Его жена долгие годы управлялась с ним удивительно ловко, точно карточный шулер с колодой карт, перекидывая с место на место, пересыпала его из рукава в карман, вертела им, как это может себе позволить лишь слабая женщина по отношению к сильному мужчине, и ему это даже нравилось. А теперь он от всего этого устал.

– Я пробовала себя обманывать, ничего не выходит. Когда ты возвращаешься от нее, все написано на твоём лице. Мне даже стыдно на тебя смотреть.

Было очевидно, что он сам вызывает все эти безумные порывы ревности и оскорбленного доверия, однако злиться Олег продолжал на нее, а вовсе не на себя.

– Я знаю, что ее зовут Марина. Она, кажется, детский доктор, – холодно и агрессивно отчеканила Татьяна Юрьевна. – Тебя можно поздравить с повышением, прежде ты предпочитал медсестер и парикмахерш, ввиду их легкой доступности, а теперь вот дорос до более высоких социальных слоев населения, так, глядишь, и до заведующей поликлиники доберешься, если повезет.

– Не собираюсь состязаться с тобой в остроумии, во всяком случае, сегодня. Ну, а если ты все знаешь, зачем спрашивать? Ты хочешь, чтобы я все опроверг, или тебя интересуют чисто технические подробности?

– Ты просто старый, похотливый ублюдок, жаждущий продлить себе молодость. Придет день, и ты сильно об этом пожалеешь, когда останешься совсем один. Не стоишь ты моей заботы и уважения, да и слез моих тоже.

Олег пытался понять её боль за поруганную гордость, но никак не мог, её уродливые вердикты не открывали ему ничего нового, а лишь разжигали в нём желание сильно и безжалостно дать сдачи, отхлестать терновыми словами по её мертвенного цвета лицу.

– Да, возможно, мне будет плохо, и я буду корчиться, как бес, окропленный из купели, но это моя жизнь. Позволь мне самому ею распоряжаться. Совместная супружеская жизнь – это ведь не рабство, а проживание бок о бок, по договорённости, в согласии и мире. В связи с тем, что согласие и мир нас, к сожалению, покинули, договорённость отменяется. Мне ни к чему твоё уважение и твоя забота, будь она неладна, мне бы хотелось от тебя покоя и деликатности, граничащими с равнодушием, но ты, как назло, везде стала совать свой любопытный нос.

Он смотрел на нее с преувеличенным вниманием, словно это была дуэль двух противников и не на жизнь, а на смерть. Сколько времени он сможет выносить такую жизнь, прежде чем сделается истериком и импотентом? Ему захотелось сейчас же уйти, убежать от этого напряжения, из этого адаво жилища, громко хлопнув дверью и оставить ее наедине с ее душливой злобой и ревностью, с ее бессонницей и расстроенными нервами. Пусть делает, что хочет, бьется в истерике головой о стенку, пусть разыгрывает суицидальные спектакли или найдет себе мужчину, слепого как Эдип, равнодушного к другим хорошеньким женщинам, пусть трезвонит все подругам и рассказывает, какой он, Олег, мерзавец, или пойдет поработает для разнообразия и восстановления баланса. Его это уже не будет касаться, и он не ляжет на диван

и не станет стрелять себе в виски одновременно из двух пистолетов, а напротив, станет наслаждаться жизнью в обществе хмельных юных девок.

Слова, Слова. Он знал, что не посмеет встать и уйти, и не из чувства долга или жалости к жене, не из уважения к их почти тридцатилетней совместной жизни, а из-за банального страха перед неизвестностью. Такой уверенный в себе, молодой и подтянутый, такой всеильный Олег Васильевич Костин с его жестким, категоричным взглядом и властным низким голосом, руководитель судостроительной компании, панически боялся той растерянности, которая неминуемо будет поджидать его после того, как он уйдет из дома и сделается ничьим мужчиной. Он старался избежать той мучительной неразберихи с самим собой и с женщинами, которые последуют за его уходом. Одинокие женщины начнут жесткую охоту на состоятельного холостяка, оставшегося без укрытия, превратятся в наваждение, кошмар, в дождь из змей, падающий на его грешную голову, как падали на провинившихся евреев. А его измученная истеричная жена как раз и была для него тем самым спасительным штандартом. Она была плодородной почвой, наполнявшей его жизненными соками в течение их долгой совместной жизни, она всегда была твердой землей под его ногами, его жена и его семья были каменной крепостью, в надежных стенах которой брутальный Олег Васильевич прятался от всех внешних неудач, от надоедливых притязаний не в меру пылких, влюбленных в него поклонниц, да и от Марины Елецкой он прятался за спину все той же жены. Он не в силах уйти от жены, пока не найдет такую же надежную, гранитную спину, за которую мог бы спрятаться его маленький беспомощный Олежек, он не уйдет из семьи, пока не отыщет новый спасительный штандарт Моисея, который, кстати сказать, неизвестно кем был, то ли египтянином, то ли евреем. Иногда Олег неохотно себе в этом признавался. Случалось, он верил в собственные вымыслы, верил в собственное мужество и силу, в самостоятельность и значительность, но только не теперь.

Раздражение Олега медленно пошло на убыль, и он почти с нежностью посмотрел на супругу. Она сильно затряслась, злобно сжав кулаки, так что выступили белые костяшки, и рыдания вновь хлынули из нее. Сегодня она была как-то особенно не в себе. Олегу показалось, что она нарочно растравляет свои раны, что у нее потребность в страданиях, как у человека, привыкшего к жизни в муках. Он зачем-то вспомнил ее такой, какой когда-то любил, и с упавшим, измученным сердцем смотрел на нее, и ему самому хотелось плакать.

– Скажи мне правду: где ты все время пропадаешь, куда тебя уносят твои мысли? К ней? Я всё, всё пойму и всё прощу! Только скажи правду!

Олег Васильевич молчал. Ему порядком надоела эта сцена самоистязания, этот ритуал, происходящий по молчаливому обоюдному согласию обеих сторон. Татьяна словно нарочно бередила свои раны, чтобы полюбоваться болью, как будто втайне наслаждаясь ею.

– Танюша, правда состоит в том, что я очень люблю тебя, – как можно спокойнее сказал Олег и при этом почти не соврал, – давай на этом на сегодня остановимся. Я сейчас провалюсь в мертвый сон, а ты опять не сможешь заснуть, а под утро тебя будут мучить кошмары. У тебя слишком богатое воображение, побереги себя. Мне никто, кроме тебя, не нужен, ты же знаешь.

Он привлек ее к себе, легонько сжимая в объятиях. Ее лицо мгновенно вспыхнуло радостными лучами, словно от невинного поцелуя первой девичьей, трогательной любви. Татьяна в это мгновение испытала спокойствие и все же собственную свою обреченность, как смертельно больной человек, которому осталось совсем недолго и немногому радоваться. Олег вздохнул с облегчением, на сегодня оскорбительно-комедийная экзекуция окончена. Сейчас она примет порошок и постарается заснуть, а он будет всю ночь старательно ее обнимать. Если женщина что-то заподозрила, и заподозрила не беспочвенно, необходимо окружить ее усиленным вниманием и, самое главное, физической любовью, если, конечно, расставание пока не входит в планы. Вообще говоря, Олег Васильевич полагал, что исполнение супружеского долга в значительной степени можно было бы рассматривать как некое алиби для мужчин. Да и женщину это всегда заметно утешает и служит своеобразным доказательством отсутствия у нее

сколько-нибудь серьезных соперниц, а иногда даже дает возможность надеяться на собственную исключительность.

II

«Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви...» Марина Елецкая не знала слов ни единой молитвы, и шептала про себя всплывающие в памяти библейские отрывки. Она стояла посреди маленькой церквушки и не понимала, как здесь оказалась, и что полагается делать. Просить она не смела, а благодарить не знала кого и как. Марина Андреевна долго переминалась с ноги на ногу, покорно склонив голову и беспомощно вытянув руки вдоль тела. «...На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его...» Она чувствовала тяжкую, смертельную тоску, и тоска эта была как бесконечная, безжизненная, серая пустыня, по которой она влачилась из последних сил, и надеяться-то ей было не на кого, кроме как на саму себя. Ей казалось, что она скоро доберется до края, до окончательного и бесповоротного края, и вот-вот сорвется, и провалится в какую-то черную пропасть. Пропасть эта совсем не пугала, даже наоборот, как будто притягивала её. Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Только вот как же будут дети?

Церковь эта была тихая, теплая и полутемная, несмотря на дневное время и огромные окна в стенах. В два часа дня здесь оказалось мертвенно-тихо, народу почти не было, лишь в стороне одиноко стояла немолодая, плохо одетая женщина и поспешно, тайком молилась, крепко прижимая пальцы ко лбу. Она потихоньку плакала у лампы, иногда становясь на колени и припадая к полу как-то слишком уж набожно, а затем мучительно-тяжко поднимаясь. Марина огляделась в поисках скамейки. Скамья была в правом углу, но на ней уже сидел сильно оборванный человек, видно, с большого похмелья, с сизым опухшим лицом и жесткими, грязными волосами, прислонив к стене деревянный костыль. Он кряхтел и кашлял, сипя грудью, и затыкал рот потрескавшимся кулаком. Видно было, что человек тяжело болен. Чуть поодаль, в углу, стоял лишь покосившийся стул о трех ногах, и Марина не решилась сесть там, а осталась стоять посреди церкви.

Глаза ее постепенно наливались тяжелыми слезами. Остро пахло пряным ладаном, парафином и еще какими-то маслами. Перед иконами горели лампы. Марина не любила лампадного церковного света и даже пугалась его. Этот свет как будто заранее убеждал её в какой-то виновности и самых разных прегрешениях, вольных и невольных. Скамейки тоже ведь наверно отсутствовали неспроста. Скорее всего, это было напоминание о неважности жизни при жизни. «При жизни нужно терпеть муки, и тогда после, что-то там, возможно зачтется...» – пыталась здраво рассуждать Марина, но сама смутилась своих крамольных мыслей. В испуге за свои непомерно смелые рассуждения, она посмотрела на иконы, не зная, что теперь ей делать и о чём думать. Она словно безуспешно чего-то ждала. Тишина была безмятежной и начинала давить.

С трудом, не без горечи, Марина подумала: раз уж она сюда пришла, стало быть, она нуждается в помощи, или опоре, или просветлении, или во всем сразу. Отпираться и говорить, что забежала в церковь случайно, было бы нечестно. Если бы кто-то в эту минуту ей сказал, что она влюблена тяжелой, безнадежной любовью в женатого мужчину, то она искренне, с негодованием отвергла бы эту мысль. Она надеялась, что все еще возможно, что счастье уже не за горами, несмотря на затянувшийся ее любовный роман. До недавнего времени ей казалось, что все так и должно быть, их любовь еще не истлела, а наоборот, только разгорается, и она не чувствовала ни малейшего оскорбления по поводу своего щекотливого и даже неприличного положения. Но в последние месяцы что-то случилось, и блаженная покорность любви все чаще стала сменяться тревогой, необузданной тревогой и тоской, растрavляющей ей все внутренности и уносящей равновесие и покой. «Зачем я здесь? – спросила себя Марина. – Я что-то ищу, что-то или, может быть, кого-то. Кого именно ты ищешь? Я пришла к Богу, значит, я его ищу. Отчего же ты раньше сюда не приходила? Простая земная любовь с лихвой заменяет богов. Поиск богов всегда начинается с утратой любви. Стало быть, отведенная тебе любовь исчезла?»

Нет, нет, это неправда, мы все еще любим друг друга», – Марина заставила умолкнуть свой неприятный внутренний голос.

Сердце ее сейчас нехорошо колотилось, лицо горело, спина была влажной от пота, руки дрожали, как у вора. «Я и есть вор, – вертелось в голове, – я ворую чужого мужа у его жены и пытаюсь оправдать свое воровство». Она стояла и, склонив голову, смотрела на восковой пучок горящих свечей у иконы, серый дымок от которых легко улетал в сторону приоткрытого окна. Перед глазами поплыл какой-то мутный туман, огоньки свечей задрожали и тоже поплыли. Марине стало стыдно, как никогда в жизни не было. Ей вдруг захотелось рассказать кому-нибудь всю свою жизнь с того дня, как она себя помнила, до этой самой минуты. Рассказать, что она добрый и честный человек и смело смотрит в глаза всем на свете, но вот только последние несколько лет сбилась с правильной, с верной дороги и увязла в любви к женатому человеку. Она не знала, как сказать об этом гнетущем чувстве здесь, среди множества святых, глядящих на нее серьезно и даже строго, как будто уже осуждающих ее. Марина боялась непонимания и насмешки. «Можно ли в этих стенах думать и говорить о подобных вещах, – тихонько спрашивала себя она, – здесь правильнее было бы просить здоровья детям».

Вспомнив о детях, она улыбнулась, и глаза ее счастливо осветились. Дети. Что может быть лучше? Марина Андреевна Елецкая была детским доктором, и всю свою пока еще недолгую жизнь посвятила здоровью детей. Ее тоскующее сердце сразу размягчилось, и она принялась перебирать в памяти детские, испуганные личики своих крохотных пациентов, которые болели, а потом выздоравливали, росли и мужали у нее на глазах, и превращались во взрослых, складных, улыбающихся мужчин и женщин. Никто бы не посмел упрекнуть ее в неосмотрительности или неумении в ее благородном деле. Марину Андреевну любили все: любили дети, любили родители, и она с каким-то упоительным материнским трепетом и материнской безотказностью откликалась на это всеобщее чувство, каким ее окружали в семьях. Дальше к ним примешивались улыбки двух ее сыновей: младшего Сереженьки и старшего Мити. Незаметно слезы радости увлажнили ее щеки. «Я не затем сюда пришла, чтобы восхвалять собственную добродетель и блаженно упиваться ею, под шумок, позабыв о грехах», – резко оборвала свои мысли Марина.

Она опять вернулась мыслями к Олегу, и тут же устыдилась своего слишком прямого и навязчивого, почти болезненного чувства по отношению к нему. Это ее надоедливое непрерывное напряжение стало переходить в настоящую лихорадку, а в последнее время она ловила себя на том, что плохо владеет собой в его присутствии, и от этого ей становилось все хуже и хуже. За эти прошедшие пять лет их любовных скитаний она всерьез прикипела к нему и бессознательно искала в нем такие же, зеркальные чувства по отношению к ней, но отыскать никак не могла, отчаивалась и злилась. Временами она просто ненавидела его за то, что он отказывается на ней жениться. Марина мысленно его оскорбляла, считая «трусом, избегающим трудностей, ищущим облегченные варианты», и даже смеялась над его нерешительностью, несколько преувеличивая его вполне цветущий возраст и называя это «старостью», а потом принималась корить себя за свои грубые выходки, за то неделикатное вымогательство, которым она занималась. Она ругала себя за то, что все чаще и чаще заглядывает ему в лицо пылливо и страдальчески, в то время как он упорно молчит. Иногда она беззастенчиво плакала прямо перед ним, понимая, что дурно, очень дурно поступает и только отвращает этим его, но продолжала плакать, обнимала его, бросалась ему на шею, терлась своими непослушными волосами о его скуластые щеки и прижимала к своей груди его руки. Она рассказывала ему о своих мальчиках, и своих сыночках, Сереженьке и Мите, и обещала, что они будут сильно любить его и будут послушными вежливыми детьми и ничего не станут у него просить...

А теперь ей было стыдно за такое свое поведение, за собственное измелъчание, позволяющее многого не замечать в их отношениях, за его давно остывший любовный пыл. Хотелось

бы просто найти время, спокойно посидеть и не спеша все обдумать, сделать над собой усилие и не врать самой себе. Но она знала, что как только увидит его скуластое лицо, вдохнет его родной запах с примесью ветивера, запах, соединённый в её сознании с сильным чувством, она непременно позабудет и стыд, и все приличия и вновь примется побираться и выпрашивать хоть немного любви. Все эти болезненные мысли до неузнаваемости исказили ее бледное лицо, так и не принеся желанного облегчения, а тоска стала еще более безнадежной, серой и мрачной, как освещение и воздух в этой церкви. «Господи, стыдно-то как, – бормотала еле слышно Марина, – как ведь стыдно-то». Она украдкой взглянула на распятие, ненадолго приложила край лба к большому, холодному кресту, пахнувшему ладаном, и еще ниже опустив голову, выскочила на улицу.

Тусклый петербургский день едва освещал улицу. Бело-серые жиденькие, снежные шарики не спеша усыпали асфальт и засохшие газоны. Марина, в осенних туфельках, стояла, не отворачиваясь от ветра, в холодном осеннем пальто. Мельчайший снежный бисер сверкал на ее одежде и лице, мгновенно превращаясь в крохотные, прозрачные капельки воды. Через час она встречается с Олегом. «Может быть, сегодня и решится моя судьба, – подумала Марина, – но, скорее всего, это будет очередное банальное и пошлое свидание. Ну и пусть! Наверное, я дурная, скверная женщина и лучшей участи не заслуживаю».

III

Мария. Крым, июнь 1911 год.

Начало июня. Утренний воздух ещё обдавал ночной сыростью, как будто пропитался морозящей пылью. Побережье было одиноким, покинутым, словно о нём совсем позабыли. Ночной отлив оставил после себя ровные, песчаные полосы под сероватым, безоблачным небом. Всё вокруг казалось сонным, тихо-однообразным, немного монотонным.

Маша остановилась и окинула взглядом летний, бледнеющий рассвет, немного пошатываясь после бессонной ночи, проведённой за чтением. Частые волны набегали на берег, надувались и лопались, как мыльные пузыри, принося с собой бахрому перепутанных водорослей. Край дикой скалы осторожно заглядывал ей за плечо, птицы, расправив лёгкие крылья, бесшумно поднимались в воздух. Маша медленно шла дальше, уверенно ступая по песку крошечными белыми сандалиями, свежая, как утренняя роса на листьях, пробуждая мир к новому утру. На ней было белое, льняное платье с длинными рукавами и высоким лифом, на манер гимназической формы, белые носочки, и такого же цвета матросская шапочка, выдающая слишком юный возраст, русые волосы сплетались в тугую косу, подхваченную атласной лентой. Она дышала глубже, чем обычно. В последний год ночное чтение её из робких, несмелых попыток переросло в неутомимую потребность, неукротимое желание читать, читать как можно больше и чаще, читать всё, что подвернётся под руку. Её семья сняла на лето старый домик, один из небольшой горсточки белых дач, распластавшихся по направлению к Феодосии, с окнами в виде маленьких, крепостных бойниц и ветхой верандой с некрашеным дощатым полом, выходящей прямо на море. На веранде всегда шуршал свежий, южный сквозняк, стоял круглый стол резного дерева, за которым вполне можно обедать. В это утро Маша пораньше покинула прибрежный домик, тихонько миновав веранду с плетёной мебелью, хрустким столовым бельём и приборами на дубовом столе, она направилась к морю, запасливо прихватив с собой небольшой томик Бодлера, чтобы понапрасну не потерять драгоценное время.

Едва освоив азбуку в пятилетнем возрасте, она, как голодный маленький щенок, принялась ненасытно поглощать всё подряд, всё, что находила, не веря своему внезапному счастью. В один день, в один миг нескончаемые стеллажи с рядами самого разного вида книг – отцовская и дедова библиотека – превратились в священное для нее место. Полки с книгами стали долгими, неведомо куда ведущими дорогами, и Маша поняла: книги – это вселенная, которая вмещает в себя всё: разум и безумие, любовь и страдания, роковое и божественное. В их пыльных завалах, в их гладкой и шершавой толще заключена сама жизнь, и теперь это всё: сложные шрифты, виньетки, старые переплёты, – всё по праву принадлежит ей одной. После подобных открытий становилось жарко, и было бы непростительно глупо тратить время на самый обычный сон.

– Доброе утро, милая барышня. Я вижу вас впервые.

Маша обернулась. Рядом с ней стояла странно остриженная девушка в белой блузке с короткими рукавами и широкой тёмной юбке. Девушка была среднего роста, как и сама Маша, с округлым, русским лицом. Прямая чёлка выстрижена, словно по линейке, её короткие каштановые волосы золотились восходящими лучами.

– Меня зовут Марина Ивановна, прежде я вас здесь не встречала.

– Мария Дмитриевна Лытневская, – она чуть присела в книксене, склонив голову. Томик выскользнул из рук, Маша собралась его поднять, но странная девушка оказалась проворнее и опередила ее.

– Ah, est-ce que telle jeune personne s'intéresse à Baudelaire?¹ – её голос звучал мягко, но как-то отстранённо, с явно наигранными высокомерными нотками. Она наугад открыла страницу и прочла:

Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор – лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада.
Заря и гаснущий закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.

Смущённая Мария начала волноваться и теребить завязку на своей русой плотной косе, переброшенной на грудь. Девушка с короткой стрижкой была гораздо старше её и вела себя слишком уверенно.

– Эти строки принадлежат гению, которому посчастливилось безупречно описывать. Это поэтический дар, – несмело шепнула сконфуженная Маша.

– Чтобы быть великим поэтом, одного поэтического дара мало. Нужен равноценный дар личности: ума, души, воли... Так отчего же я вас не видела? Я здесь ровно месяц.

– Мы приехали третьего дня. Моя мама взяла внаём небольшой домик с террасой, в той стороне, – Маша неопределённо махнула рукой, – и мы, скорее всего, останемся здесь до конца лета. А вы здесь с родителями?

– Нет, я живу у друзей с начала мая. Знаете, Мари... Вы позволите так себя называть? У нас здесь образовалась замечательная компания, я вас обязательно познакомлю. Вы ведь любите поэзию?

– Боюсь, я в этом ничего не смыслю, – Маша неловко запнулась, – вы позволите пригласить вас прогуляться со мной? Моя мама говорит, что пешие прогулки чрезвычайно полезны, они оздоравливают тело.

– Дорогая Мари, слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Вы не находите? – при этих хоть и резких словах, сказанных с обязательной вежливостью, Маша уловила светло-серую задумчивость в бездонных, широко поставленных глазах взрослого, пожившего человека.

– Сколько вам лет?

– Четырнадцать.

– Четырнадцать, – как будто издали, словно эхо повторила Марина, – вы не дитя, и не взрослая. В детстве у меня была довольно странная игра, я писала годы наперёд. В восемь лет я писала длинный столбец, начиная с 1902 года и далее на много десятилетий, в полном сознании предвосхищения и неизбежности... Дети слишком понимают. В семь лет, Мари, Мцыри или Онегин понимается верней и глубже, чем, скажем, в двадцать. Дело не в недостаточности понимания, а в слишком глубоком, болезненно-верном понимании.

Маша внимательно, с детским любопытством, позабыв правила приличия, разглядывала девушку, странно говорящую и экзотически выглядящую. Её собеседница была собрана и тверда, словно отлита из стали, уверенные глаза её без стеснения смотрели прямо в растерянные глаза Марии. Много, много замысловатых колец на пальцах.

– Приходите к нам вечером, дом моих друзей совсем рядом. Я буду читать стихи, – обронила Марина как бы невзначай и тут же отвернулась, словно совсем забыв о своей случайной, робкой собеседнице. Дальше девушки пошли молча, как незнакомые.

¹ О, юная особа интересуется Бодлером?

Две юные, стройные, удивительно красивые девушки... Совсем скоро они станут взрослыми женщинами, и каждая пойдёт своей, непростой дорогой. Если бы только красота была способна приносить счастье, если бы только красота была достойна любви, то они не знали бы в них недостатка. Через одиннадцать лет одну из них ждёт долгая, тяжёлая эмиграция, с трудностями и лишениями, но и с любовью. Через двенадцать лет они обе почувствуют себя несчастными рядом с супругами, но будут сохранять каждая свой брак на протяжении многих лет. Одна из них, с тяжёлым сердцем, разбитым сильной, но недолгой страстью, создаст поэму «Горы», лучшую поэму о любви двадцатого столетия. Её стихам будет суждено стать великими и любимыми миллионами людей. Через тридцать лет, не в силах вынести на своих хрупких плечах непосильный груз прошлого и не в состоянии «продолжать дальше», оставив три предсмертные записки, она покончит с собой в маленьком городке Елабуга. Другая, так и не сумев смириться с большевистским террором, через двадцать три года покинет семью и навсегда уедет из этой страны. Соблазнительные мысли о самоубийстве регулярно будут её посещать, но она сможет сохранить себя до глубокой старости, обретя любовь и покой в работе, в спасении незнакомых людей. Но это будет потом. Ещё не скоро их горящие девичьи глаза потухнут и опустеют, плечи устало ссутулятся, а волосы поредеют и заблестят на висках, сейчас они полны сил, радужных надежд и благородных порывов.

Марина ступала лёгкой, неслышной походкой, думая о чём-то своём, а Мария тут же загорелась огненным любопытством, ей не терпелось как можно скорее всё разузнать, но она пыталась себя сдерживать, злясь на своё беспримечное, детское легкомыслие. Ей хотелось сделать какой-нибудь «шаг», чтобы оказаться ближе к этой девушке с зеленовато-кошачьими глазами на смугло-розовом лице, несмотря на то, что рядом с ней она почувствовала себя ещё младше и глупее. По совести сказать, она отчего-то уверовала в собственную непросветлённость по части возвышенного, но разговор, однако, хотелось продолжить.

– Чьи стихи вы собираетесь читать? – запинаясь, спросила она, не выдержав затянувшейся паузы. Марина как будто очнулась, увидев идущую рядом девочку в белом летнем платье.

– Свои. Прошлой осенью вышел первый мой сборник. Я сама его издала. Мой отец не знал, что я выпустила книгу. А чем занимаетесь вы, помимо полезных пеших прогулок и литературных увлечений?

– Учусь в гимназии.

– А я бросила гимназию, не дожидаясь конца учебного года, и не получила аттестат. Мой отец был очень расстроен.

– Вы бросили гимназию? – с робким удивлением выговорила Маша. – Как же так? Разве девушке так поступать дозволено?

– Я устроена иначе, иногда чувствую себя бунтарём. Что такое действительность? Жизнь скучна, и всё время нужно представлять себе самые разные вещи. Воображение тоже жизнь. Но, знаете, Мари, маленькой девочкой, я огорчалась и плакала, провожая уходящий навсегда старый год, и от огорчения была не в силах радоваться новому. Я сплав противоположностей, – её золотисто-русые пушистые волосы трепал лёгкий ветер, рассыпая их по округлым щекам, серьёзному лицу, тонкому, с маленькой горбинкой, носу, подчеркивая её юную красоту.

Несколько минут Маша внимательно смотрела на Марину, кожей чувствуя соприкосновение с неким нематериальным космосом, пробуждаясь от своей детской непосредственной наивности. Это были всего лишь несколько необыкновенных, но настолько волшебных минут, что Маша не заметила, как к ним подошёл огромный широкоплечий мужчина. Он был похож на древнегреческого Зевса, в длинной рубахе без рукавов, напоминающей тунику, из-под которой выглядывали волосатые ноги. Большое лицо с округлой, русой бородой, кудлатая, спутанная, редко поседевшая шевелюра была откинута назад, светло-карие, проницательные глаза глядели на неё вполне искренне и бережно-внимательно. В таком более чем странном, совсем

даже неподходящем для взрослого мужчины наряде он тем не менее производил самое приятное впечатление.

– Мари, познакомьтесь, это мой друг и наставник, поэт и художник Максимилиан Александрович, но он не очень любит, когда его имя произносят вместе с отчеством. Ему больше нравится – Макс.

Мария вновь присела в гимназическом реверансе, протянув мужчине-Зевсу свою тоненькую ручку для пожатия. Он бережно коснулся её руки, изучая глазами, и с чуть заметной улыбкой сказал:

– Добро пожаловать в нашу компанию, юная барышня.

– Макс сразу понял меня и дал положительный отзыв о моей книге, душевный и сердечный, а другие... – она не договорила.

– Мари, посмотрите, у Макса глаза, как две капли морской воды, в которой прожжен зрачок. Когда он смотрит на вас, не сводя глаз с лица и души, слёзы выступают, как будто глядишь на сильный свет. Только здесь свет глядит на тебя. Когда он увидел меня впервые, я была обрита наголо, и он сказал, что у меня идеальная форма головы для поэта, и ещё, что я похожа на римского семинариста.

Рассеянная улыбка блуждала по губам и сентиментальным, длинным ресницам совсем юной девушки Марии, она обеими руками придерживала на голове матросскую шапочку, чтобы её не унесло порывами тёплого ветра. Ей хотелось совсем по-взрослому проникнуться священным безмолвием, замкнуться и наблюдать странную парочку исподтишка, словно встречать необыкновенных людей для неё дело самое привычное, но простодушная детская непосредственность брала верх над всеми этими условностями, и она, немного осмелев, стала смотреть во все глаза на своих новых знакомых, доверчиво улыбаясь и показывая детские щербинки на зубах.

– Вы знаете Клоделя? – спросил Максимилиан. – Любите ли Рембо? Можете ли поделиться мыслями? – задав этот короткий вопрос, его губы тут же плотно сжались, словно он ничего и не сказал.

– Видите ли, Мари, Макс всегда находится под ударом какого-нибудь писателя, с которым не расстается ни на миг и которого внушает всем. Он подарил мне Анри де Ренье как очередное самое дорогое. Не вышло. Я не только не читаю романов Анри де Ренье, но и драм Клоделя тоже. Люблю бродить по пяти томам Жозефа Бальзамо.

Маша чувствовала, что здесь-то её и застигли врасплох. Ей было нечего сказать. В учении она всегда была прилежна и, взгромоздившись на старый, пахнувший плесенью и дубом письменный стол деда, строго задавала сама себе задания. Ей позволяли копаться в фамильной библиотеке. Она то вскарабкивалась на самые верхние полки, то ползала на коленях по потёртому паркету, извлекая очередное сокровище из нижних недр. Библиотека в основном состояла из русских и французских классиков, которые и открывали ей мир. Мир идеальный и осмысленный, чудовищный и опасный. В книгах она и находила жизнь с прописными истинами, безапелляционными заявлениями и полной зыбкой бессмыслицей сущего. Мысленно она соглашалась или отвергала прочитанное, внимательно вглядываясь в разного рода деликатные материи, но вот сама от уверенных суждений пока что воздерживалась. Сейчас она стояла, боясь очертя голову рухнуть в этот неправдоподобный и реальный мир вместе со своими неожиданными знакомыми, она боялась выглядеть глупо, оказавшись среди тех, кто творил этот мир, где красота и добро, мучительные, трагические скорби и ощущение разбитой жизни – всё, всё сливается воедино. Быть одиноким странником, или даже зрителем, наблюдать со стороны, решила Маша, намного безопаснее, чем самостоятельно мыслить о жизни и творчестве и говорить об этих вещах вслух. И даже несмотря на свой слишком юный возраст, она всегда боялась быть идеалисткой, рассуждающей отвлеченно и восторженно, но и отстранённый

цинизм ей тоже казался вовсе неуместным. Пока ей оставалась лишь наивная, зато безопасная познавательная созерцательность. Но сказать об этом она не посмела.

Увидев растерянность на открытом детском, трогательном личике, Марина, пожав плечами, просто сказала:

– Много читающий человек не может быть счастлив, Мари. Книги – это гибель, счастье всегда бессознательно. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь, книги уводят от реальности.

– Эй, Мара! – кричали издали юноша и девушка. Они шли вдоль кромки воды и приветственно махнули рукой Марине. Та в ответ нетерпеливо замахала и, повернувшись к Маше, небрежно бросила:

– Это Сергей, мой жених, и его сестра. Знаете, что я вам скажу? Этой весной в Гурзуфе в меня был влюблён одиннадцатилетний мальчик. Его звали Осман. Это была наивная, безоглядная и преданная любовь. Не каждому дано любить бескорыстно, Мари, а вот Сергею, как и тому мальчику, дано.

Мария молчала, изо всех сил прижимая к груди то ли томик Бодлера, то ли собственное сердце, чтобы нечаянно не выронить на землю.

– Не смущайтесь, Мари, каждая встреча начинается наощупь, люди идут вслепую, и нет, по мне, худших времён в любви, дружбе, чем пресловутые первые времена. Не худших времён, а более трудных времён.

Маша согласно кивнула, да, в начале знакомства бывает, что смотришь ошибочно и, как ей казалось, видишь совсем, совсем не то. Всё выглядит поверхностно и даже легкомысленно, как, например, туника на мужском, волосатом теле, но это совершенно ничего не значит. Главное, не спешить с преждевременными выводами.

Дом был огромного размера и, казалось, дремал, разморившись под южным, июньским солнцем. Он был в несколько этажей, со множеством опоясывающих деревянных галерей, и от этого походил на настоящий корабль, только окружённый не синей водной гладью, а цветущими кустами и поблёскивающей шелковицей. На узкую террасу вела утоптанная тропинка, видно было, что дом этот всегда открыт для гостей. Кое-где по белёной стене вился дикий виноград. Маша осторожно ступала по неровно уложенному кирпичному полу длинной террасы, внимательно осматриваясь вокруг. На террасе стоял стол, показавшийся очень большим, с дощатыми лавками вокруг. Внизу к стене почему-то был прибит самодельный фанерный ящик, похожий на обычный почтовый. За столом сидели странно одетые люди перед пустыми кофейными чашками и о чём-то разговаривали, не обращая на неё никакого внимания. Быстро подбежала рыжая, помятая собака ужасающего вида, похожая на фокстерьера, и подозрительно уставилась на Машу мутными глазами, и та замерла на месте.

– Бояться не стоит, это Тобик, пёс Миши, он вполне безобиден, Макс утверждает, что в нём течет кровь гасконца, – сказал кто-то из-за стола, – ещё есть чёрный пёс Гайдан, но тот послабее будет, оттого-то его и защищает Мара. Она вообще защищает всех слабых собак и кошек.

Но Маша не имела ни малейшего представления, кто такой Миша и почему не следует опасаться его страшной собаки, и на всякий случай отошла в сторону. Она продолжала скромно стоять и разглядывать ящик, недоумевая, почему его прибили в таком неподходящем месте, ведь ему бы полагалось находиться на подступах к дому. На террасу вышла Марина. Она была в широких шароварах, туго стянутых на талии.

– Не удивляйтесь, Мари, недавно у Макса был день рождения, и он собственноручно смастерил это сооружение и предложил всем желающим опускать в ящик любые стихи и рисунки, разные пожелания, смешные и серьёзные. Сам тоже опустил подарок для всех и для себя – семь сонетов, я вам их обязательно прочту. Вы тоже можете опустить туда что-нибудь по своему желанию и вкусу. А сейчас пойдёмте в дом, я вас познакомлю.

В большие окна деревянного дома с закруглённой центральной частью смотрело море. Из какой-то двери появилась странная женщина, она была ни стара, ни молода, от сорока пяти до шестидесяти лет, или даже больше. Словом, неопределённого возраста, довольно стройная, с седеющими волосами в парадной, ярко-красной кофте, вышитой гладью геометрическими узорами. Она походила на татарку, но только с голубыми глазами, могущественную правительницу феодальных времён, со всеми полагающимися украшениями, вышивкой, яркими цветами тканями и уверенным, свободным лицом.

– Позвольте вас представить друг другу. Это мама Макса, безраздельная владычица дома и наша кормилица, – быстро говорила Марина, – а это наша новая знакомая, Мария Дмитриевна Лытневская, юный почитатель поэзии. Она живет неподалёку, так что комната ей не нужна, тем более, что они и так все заняты, – зачем-то добавила Марина.

Маша не очень разобрала, о каких комнатах речь, но была тронута. Она благодарно улыбалась, изучая почтенную, свободную хозяйку дома, совсем не похожую на её строгую, собранную маму, а больше походившую на атаманшу. Маша немного смущалась, оттого одновременно с приветствиями разглаживала воротничок на своём платье.

– Зовите меня просто «Пра».

– Разве вы уже успели стать прабабушкой? – наивно спросила Мария и тут же одернула себя за столь неблагопристойную ребячливость.

– Пра – от «праматерь». Прародительница, так вам будет удобнее, так меня называет вся молодёжь. У Макса даже есть сонет на эту тему, он так и называется «Пра».

– У вас очень красивый и... необычный дом, похожий на корабль, внутри он ещё красивее, чем снаружи.

– Я сама его строила на свой вкус, Макс мне не мешал.

Откуда-то пахло то ли борщом, то ли тушёной говядиной с кислой капустой, Маша точно не разобрала. Видно было, что хозяйка одновременно умело управляет со всеми этими кулинарными обязанностями и успевает принимать гостей, весь её вид говорил о какой-то мужской твёрдости, непреклонной проницательности, несмотря на свою худощавость. Маша подумала, что такая женщина собьёт спесь с кого угодно, но отчего-то совсем не испугалась, а, наоборот, как-то приободрилась. Макс не был похож на свою мать, так, во всяком случае, показалось Марии, в нем, несмотря на грозную внешность, больше было женской мягкости.

Маша бродила по этому большому дому, населенному удивительными людьми. Много маленьких, побелённых комнат, смотрящих окнами то на море, то на вулканический массив горы, то на остроконечную скалу. Она поднялась по деревянной лестнице в двухсветную башенку, в которой располагалась художественная мастерская, весь второй этаж был занят полками книг до самого потолка. В нише, между диванами стоял алебастровый слепок египетской царицы, с восточным лицом и загадочной улыбкой на полных губах. Вокруг – полки с кистями, красками, акварелями, кусками базальта и какими-то корневищами. В открытое высокое окно доносился рокот моря, смешанный с неразборчивыми мужскими и женскими голосами, пахло морем и горькой полыню. Приоткрытая дверь на антресолях вела в кабинет, в проёме виднелись гипсовые Пушкин, Гоголь, химеры Нотр-Дама и снова книги, книги. Маша взялась за дверную ручку, но в этот момент раздался хриплый звук, точно ребёнок дул в маленькую трубу. Это был призыв к столу. Со всех сторон послышались голоса и смех и шум чьих-то спешащих ног.

Гости собрались за длинным столом на веранде. Мария с нетерпением ждала обещанную ей поэтическую часть. Из вежливости пришлось со всеми познакомиться. Марина сидела рядом со своим женихом Сергеем и его сёстрами Лилей и Верой. Сергей был похож на бледного англичанина, худой, высокий, с длинным, вытянутым лицом и мечтательным взглядом. Дальше сидела милая и беспечная Ася, сестра Марины, разговорчивая и веселая, полная её противоположность. Ещё был совсем юный, очаровательный художник Леонид, не старше Марии,

приехавший к Максy погостить, и тот, кажется, брал его с собой в горы на этюды, писать гуашью. Во главе стола сидел монолитный Макс, с обильной, неуправляемой растительностью на голове. Девушка по имени Белла, кажется, сестра художника Леонида. Маша совсем запуталась в лицах и именах. На столе были расставлены фрукты и сладости, свежий крымский хлеб. Хозяйка, с величественной осанкой, в красной кофте-казакине, отложив в сторону душистую, дымящуюся папиросу в серебряном мундштуке, раскладывала мясо по тарелкам, а потом понесла еду тому самому Мише, хозяину собаки, который в этот день ел почему-то на чердаке. Здесь всё казалось слишком странным, непривычным и совершенно непонятным.

Близорукые глаза сощурились, ее веки опустились, казалось, Марина собралась задремать, но зазвучал слегка дрожащий голос. Мария вся подобралась, как на уроке в гимназии, и приготовилась внимательно слушать. Прежде она не видела, чтобы ТАК читали стихи, она не узнавала говорящую, ибо та попросту отсутствовала или, наоборот, все остальные, весь мир перестали для неё существовать. Звучные сочетания слов, то резкие, то гладкие, прерывались паузами и вздохами. Привычные слова казались не слишком понятными, они сливались в такие же совсем странные фразы, шуршали шипящими, высоко взлетали звонкими, другие были обёрнутые в мягкий бархат и смело постукивали в тишине комнаты, витиевато переплетались, переливаясь сложными изгибами. Во всех этих чувственных, искренних, стонущих словах смиренное, богобоязненное сердце маленькой Марии слышало брошенный вызов Богу, крик всему человечеству, они смущали её, нарушали привычное представление о жизни и поэзии прежде, чем она успевала их осмыслить. Мария прежде не встречала таких вольнодумцев, возмутителей спокойствия с убеждённым тоном. Это были необыкновенные стихи, разрушающие всё её сложившиеся представления о поэзии, но всё-таки самые восхитительные и волнующие из всех ей известных.

Сомнений не было, Марина не сдерживалась, не заботилась об окружающих, не пыталась произвести на них впечатление. Она представляла публике детище, выношенное и рождённое собственной утробой, не жертвуя ни единым многоточием, не опуская ни одной запятой. Эта девушка могла заставить сильнее биться другое сердце, ей это было дано, Мария это поняла с первого взгляда ещё там, на побережье. Здесь были признания, страдания, откровения, они мелькали у Маши в голове, простые и сложные, увлекая в романтическую неизбежность, в надрыв, в пророчество, в погибель, они величаво слетали с уст и продолжали гордое шествие. Мария окончательно растерялась, услышав:

...Чтоб был легендой – день вчерашний,
Чтоб был безумьем – каждый день!
Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след...
Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Лёгкий румянец тронул округлые щёки Мары, когда стих добрался до своего победного конца. Она стихла, провела по коротким, русым волосам рукой с множеством колец, склонила голову набок, робко обвела взглядом собравшихся в гостиной: бледный Сергей, с его узким, скандинавским лицом и лихорадочными глазами, разглядывал выступающую, ловя каждый её вздох; Лиля сидела вполоборота, отвернувшись к окну; Пра по-матерински, одобрительно смотрела на всю собравшуюся молодёжь. Морские глаза Зевса, лишённые всякого беспокойства, были полны глубокой, тихой мудрости, а его экзотический вид напоминал древнерусского богатыря в греческом хитоне. Все собравшиеся, кроме Сергея, показались Марии удивительно спокойными. Она не могла понять, как же можно вот так сидеть и слушать это многообразие и непредугаданность. Как же так? Вот так просто сесть и сидеть, когда внутри всё переворачива-

ется? Ошалев от счастья, позабыв все правила приличия, Мария громко, по-детски захлопала в ладоши. Она чувствовала себя приобщённой к священнодействию, ей позволили наслаждаться музыкой откровений, её сложными песнопениями, от этого кружилась голова. Пусть смысл неподатливых фраз так до конца и не открылся ей, неважно, она обязательно их рассмотрит со всех сторон и, возможно, тогда они сделаются прозрачнее, и она постигнет их тайну. Сергей тут же подхватил и зааплодировал с силой, несоответствующей его болезненной внешности, опаяя Марину влюблённым взглядом и словно в беспамятстве повторяя «браво». Он тяжело дышал, то ли воздуха не хватало, то ли пытался вобрать в себя всё пространство, пропитанное ею. Что делали остальные, Маша не замечала. Неодолимая, волшебная легкость, кружившая в стихах, оказалась слишком заразной и овладела ею тоже. Прежде она знала простые радости детства и юности: смеяться, прыгать, наслаждаться сладкими лакомствами, а вот радость и восторг полёта, которых в её жизни окажется совсем немного, ощутить довелось впервые.

Все шумно поднялись со своих мест и, переговариваясь, стали перемещаться в сторону рояля. Маша слышала, как Макс спокойно и увесисто сравнивал «невзрослый» стих с детским ломающимся голосом, не слишком уверенным в себе, но которому уже доступно многое, который умеет передать оттенки, о коих взрослым нечего и мечтать. Ещё говорил об истинно женском, откровенном обаянии стиха, о том, как он понял эту юность, граничащую с детством. Марии даже показалось, что Макс просто обладал особым даром – всегда быть спокойным, этим редчайшим даром, восхищавшим её в людях. Марина слушала его, откинув голову назад, улыбалась одними глазами, они золотились сквозь прищуренные ресницы, но взгляд был устремлён куда-то далеко.

Мария была готова кричать, плакать и топтать ногами: почему так невозможно, так чудовищно быстро закончилась поэтическая часть, когда в глубинах сердца зашевелилась зарождающаяся любовь, когда всё её существо до самых тайников сознания жаждет появления на свет истины. Как можно обрывать эти щедрые речи, ведь они сродни солнцу и морю, в этих расплывчатых, почти интимных откровениях, как раз и есть радость полёта. Она стояла недовольная, не решаясь сдвинуться с места в надежде на продолжение, позабыв безупречный такт и манеры взрослой, благовоспитанной особы.

– Мари, куда же вы исчезли, – послышался голос Мары, – ступайте к нам. Вы играете на фортепиано? Вы играете Шопена? Он – мой любимый. Если да, прошу вас, не отказывайте. Знаете, моё первое слово было «гамма», правда, забавно? Поэтому моя мама вообразила, что из меня выйдет, по крайней мере, Рубинштейн, и в семь лет отдала меня в музыкальную школу. Она заливала меня музыкой, – в голосе появилась если не злоба, то грусть и сожаление, – топила в ней, в своём несбывшемся призвании, несбытшейся жизни. Но я не родилась музыкантом. Бедная мама, как я её огорчала, а она меня попрекала всем подряд, считала немusикальной, а дело не в этом, я была всего лишь ДРУГОЙ.

Серьёзный взгляд её выдавал печальную искренность, совсем, казалось бы, не печальных слов, буднично обронённых. Маша была странно тронута, сама не понимая, что её на самом деле растрогало. Сейчас она ещё слишком мала, к тому же всерьёз увлечена своими собственными переживаниями, чтобы уловить, расслышать и понять суть подобных, чрезвычайно тонких нитей. Спустя много лет, случайно встретившись, они ещё раз вернуться к этой грустной истории детства Марины.

Шопен? Что ей оставалось делать? Мария тяжело вздохнула и послушно прошествовала к огромному роялю с тёмными пятнами. Да, она играла на фортепиано с раннего детства, сколько себя помнила, с попитра рояля ей в лицо насмешливо смотрели занудные этюды Черни, словно вызывали на дуэль, изводя её непослушные, нетянущиеся пальцы до полнейшего безумия. Много детских лет она судорожно пробегала по арпеджио, безжалостно твердя бесцветные и незапоминающиеся упражнения под раздражающее щёлканье надзирающего метронома. Ну и что!

Маша пыталась спокойно и легко играть «Блестящий вальс» Шопена, но своей музыки она не слышала. В сердце поднялся настоящий ураган, в груди всё давило, в голове метались мысли, они поднимались и кипели, точно обезумевшие ночные бури, а когда она пыталась к ним присмотреться и схватить, разлетались пенными брызгами. После, кажется, были аплодисменты, все радовались и даже смеялись. Мария, робкая от природы, решила, что смеются непременно над ней, над её неумелой игрой, она побледнела, виновато сдвинула брови и, придавленная необходимостью покинуть дом, быстро направилась к выходу.

– Я благодарна вам, Мари, спасибо вам, – окликнула её Марина, а Маша только этого и ждала, чтобы ещё хоть ненадолго задержаться, – я люблю Шопена, мое пристрастие объясняется не только польской кровью, но и любовью к нему Жорж Санд.

Она стояла с серьёзным лицом, с вертикальными полосками на лбу между бровей, и была совсем взрослой женщиной, поэтом, оттого казалось, что она намного, намного старше своих неполных девятнадцати лет.

– До скорой встречи, я буду ждать вас. Будет хорошая погода – погуляем, дождь – посидим и побеседуем, расскажу о своём первом музыкальном выступлении с Женей Брусовой в четыре руки, будете смеяться. Целую вас нежно, – на прощание Марина протянула Маше небольшую книжечку своих стихов.

– Только её нужно читать подряд, как дневник, – сказал Макс, оказавшийся здесь же, рядом с Мариной и теперь походивший на галльского воина без доспехов, он улыбался только светлыми, серо-карими, пронизательными глазами, и никогда губами, – и тогда каждая строчка будет вам понятна и уместна. Книга такая же юная и неопытная, как и вы, барышня, в ней девичья интимность наивна и искренна, на грани последних дней детства и первой юности. В ней Марина даёт по-новому рассказанный облик женственности, рассказанный голосом женственной глубины, скрытых подводных течений женской стихии. Вы скорей поймёте её недостаточно послушное слово, но слово, верно передающее чувство и наблюдение, чем всё моё, предыдущее поколение. Вы повзрослеете, Мария, переменитесь, а эта книга так и останется такой же наивной и непосредственной.

– Для меня сейчас лучший час, – сказала Марина, – самый поздний, перед сном, с книгой в руке. Впрочем, это был мой лучший час и в четырнадцать, и в шестнадцать.

У подножия горы Кара-Даг снижалось солнце, наполняя воздух темнотой и прохладой. Над ухом жужжали комары, запахло свежими листьями и ночью. Южные сумерки наваливаются стремительно. Бледно-розовое небо затягивала пепельная поволока, быстро погружая остатки зари в лиловую, вечернюю прохладу. Жёлтый свет дачи, похожей на корабль с лёгкими галереями, опоясывающими второй этаж, остался позади. Маша с жадностью любовалась багровыми пятнами заката, часто вдыхая тёплый воздух, стараясь насытиться им, запастись впрок, словно сегодня был последний день и последний вечер её детской, беззаботной жизни. Завтра всё будет уже не так, завтра наступит новая, взрослая жизнь, где все без исключения впадают в сиротское одиночество, которого и ей не удастся миновать, а этот мудрый вечер, единственный свидетель и утешитель, раскрашивает сиреневые сумерки, словно в первый раз, исключительно для неё, изъясняя искреннее сочувствие. Станет ли она когда-нибудь для кого-то Пра, праматерью, прародительницей, суждено ли этому случиться? Какими будут эти люди, эти дети или взрослые? Она даже не знает, доведётся ли им появиться на свет. Возможно, они всё-таки появятся. А её правнучку обязательно будут звать Мариной. Говорят, заглядывать в будущее – неслыханная дерзость.

В настоящем же она уходит в чтение и совсем не думает о дне грядущем, она не выставляет свои мысли на всеобщее обозрение, они представляются ей до неприличия лёгкими и глупыми. Она довольно рассеянна и ленива, и до сих пор не знает, чего хочет и что любит, но уверена в своей нелюбви к карикатурной дружбе и приторной лжи, ибо сама она девочка

замкнутая, но честная. И она не представляет, хорошо это или плохо. Ей захотелось пожелать своей правнучке, если таковая всё-таки появится на свет, а заодно и себе, отыскать такое поприще, на алтарь которого можно было бы не скупясь вознести все свои силы. Пусть это будет что-то высокое и вечное. Мария продолжала стоять лицом к шумящему морю, но уже не видя его. «Ну, вот и всё, – грустно прошептала она, – я взрослая». Резко развернулась и уверенно пошла в сторону своего дома.

Было одиннадцать вечера. Она бесшумно отворила дверь и прислушалась. Мать и прислуга, наверно, уже легли спать. В крохотной столовой на круглом столе, под салфеточкой, её ждал холодный ужин, но есть совсем не хотелось. Аппетит в последнее время то и дело пропадал. Марина говорила, что после еды люди глупеют, и разве сытому человеку придёт на ум что-нибудь необыкновенное, да и в минуту подъёма человек не думает о еде. В итоге: чем человек умнее, тем он меньше ест.

Тихонько Мария пробралась в свою комнату и поплотнее затворила разохшуюся дверь, не выпуская из рук драгоценную книгу, зажгла слабый ночник возле кровати и, не раздеваясь, уселась на небольшие взбитые подушки. Прежде чем открыть книгу, она несколько раз провела по ней тонким платочком, стряхивая невидимую пыль. Открывала «Вечерний альбом» она почти не дыша, едва касаясь страниц кончиками пальцев. На обратной стороне титульного листа была памятная надпись: «Марии от всей души. Июнь 1911 год». Маша перечитала несколько раз написанное, вглядываясь в каждую букву, прикрыла глаза и принялась баюкать книгу, как ребёнка, а потом взяла на ладонь, словно взвешивая. Наконец, кое-как справившись со своими эмоциями, она положила тяжёлую голову на подушки. Это была небольшая, объёмная книжечка в двести двадцать шесть страниц «Детство – Любовь – Тени». Всю ночь она читала её, захваченная интонацией, и не всегда понимала смысла. Она читала и перечитывала до тех пор, пока написанные слова и вовсе не перестали иметь смысл. Под утро она почувствовала сильную нехватку воздуха от того, что лиф платья туго её сдавливал. Маша поднялась с кровати и медленно начала раздеваться, аккуратно развешивая одежду с деланным спокойствием, к которому всегда прибегала, желая унять колотящееся сердце. Потом аккуратно спрятала «Вечерний альбом» в ящик ночного столика и снова упала на подушки, будто сражённая наповал ударом молнии, скрестив руки на груди, и уставилась неподвижным взглядом в чёрную точку на потолке. Так провела она несколько часов, пока её не накрыл беспокойный предутренний сон.

IV

Парадная дверь, ведущая в третьесортный, дешевенький отель, была слабо освещена предвечерним скупым северным солнцем и от этого казалась еще грязнее, но Олег Васильевич знал, что Марину Елецкую это как будто не пугает. Она совсем не конфузилась, проходя мимо любопытных портье, не прятала глаз, не стыдилась невыразимого цинизма и пошлости ситуации, в которой оказалась. Сам же он старался лишней раз не смотреть по сторонам, дабы не натолкнуться на непонимающий взгляд каких-нибудь знакомых или друзей семьи, и даже прятался от солнечных лучей, как будто они могли уличить его в неверности. Лицо Марины, напротив, выражало лишь трепетное восхищение оттого, что она шла рядом с ним. Олег был уверен, что женщины обожают тех мужчин, которые заставляют их страдать, и чем сильнее страдания, тем ярче любовь. Таков мир.

Он намеренно водил ее по дешевым гостиницам, а она, несмотря на свою внутреннюю чистоту и нравственность, покорно мирилась с этим. Олег чувствовал себя победителем, а ее – побежденной. Он прекрасно понимал всю униженность ее положения, но ему это нравилось. Сама идея неравенства с ней, мысль о своем собственном превосходстве доставляли ему острое удовольствие. Он вел ее в постель, как ведут слабовидящего, беспомощного человека, через дорогу. Полное доверие. Их пятилетние встречи слились вместе, слиплись, как подтаявшие, просроченные леденцы, и с трудом отличались друг от друга: пара-тройка банальных, ничего не значащих фраз о любви, бокал красного или белого вина, и можно вплотную приступить к великим тайнствам физической любви.

...Осенние туфли на высоких каблуках глухо стукнулись о пол, и это была волшебная музыка для слуха Олега Васильевича, которую он любил больше всего на свете, ну еще разве что звук откупорившейся бутылки или долгий шелест купюр. Щеки Марины призывно горели, а роскошные блестящие волосы игриво растрепались. Он любил смотреть на ее трепещущие ресницы, похожие на крылья пугливой птицы: то мгновенно взлетают ввысь, то бесшумно опускаются. Он, как и полагалось нетерпеливому возлюбленному, привычными и умелыми движениями опытного кавалера стаскивал с ее ног тонкие, ажурные чулки, надетые явно не по погоде. Он это быстро отметил и даже успел испытать удовольствие. Она доверчиво улыбнулась ему и, закусив от счастья нижнюю губу, сомкнула дрожащие ресницы, длинно вдыхая аромат его тела, пахнущего ветивером. Его теплые объятия погружали ее в полусон, в полунебытие, от ветивера слегка кружилась голова, она плавала в этом любовном коконе. Его завораживала ее искренняя, полная обещаний улыбка, она не оставляла сомнений в ее любви. Поначалу Олегу нравилась щедрость ее натуры, ее подлинность и открытость, с ней он обрел новый вкус наслаждений, но вскоре он почувствовал опасность ее даров. Взамен она требовала того же, а этим он, к сожалению или к счастью, совсем не мог ее порадовать.

После стихнувшей агонии Марина, все еще лежа в постели, повернула голову к окну, за которым густо повалил мокрый снег. Обычная, изводящая и без того перегруженные нервы, петербургская слякоть. Несвежая гостиничная штора морковного цвета с дурными узорами слегка колыхалась от открытой форточки. Марина поднялась на локте, придерживая на груди застиранную простынь, и осмотрелась вокруг. Грязненький гостиничный номер, приглушенный свет дешевого, колченого торшера, недопитая бутылка красного вина, разлитая в фужеры для шампанского, любимый мужчина похотливо гладит хозяйской, уверенной рукой ее бедра. «Сколько убогости и пошлости в моей высокой любви», – впервые за долгие годы подумала Марина и тяжело закрыла глаза от отвращения и стыдливости. Она не хотела видеть эту реальность, она отказывалась на нее смотреть. Перед ней всплыла маленькая, худенькая фигурка Сереженьки, ее младшего сыночка, жавшегося у стены в прихожей и тоскливо провожающего ее до входной двери. Марина мгновенно дернулась всем телом, словно напуганная

выстрелом утка, открыла глаза. Олег ничего этого не заметил. Он был слишком занят своей собственной эйфорией, чтобы уловить перемену, так скоро произошедшую с его подругой. Он радовался своей мелкой мужской победе. Его всегда пленяло сочетание вина и женщин, он понимал, что это обжигающее, невозможное счастье вот-вот покинет его, и он будет с трудом преодолевать лестничные ступеньки вниз и вверх, думая о высоком давлении и болях в мочеиспускательном канале. Он будет, едва справляясь с грузностью собственного тела, тяжело переводить дух на этих чертовых ступеньках, скоро будут ныть и ломить кости к перемене погоды и непременно к дождю. Совсем скоро он ощутит прилив снисходительности к старым, потасканным ловеласам, над которыми когда-то насмеялся. Но это все будет не теперь, а в другой жизни. Пока еще есть время, еще можно себе позволить об этом не думать и нырнуть в теплое безумное море многочисленных женских тел, скрашивающих его трудовые будни, ибо в выходные и праздники он старался быть примерным семьянином.

Сейчас он нежился, он просто купался – не в Марине, нет, он был очень далеко от нее, он купался в себе, в своей мужской силе и власти над происходящим.

Наконец он заметил мрачную тень на гладком личике Марины Елецкой, которое совсем недавно, всего несколько минут назад светилось беззаботным счастьем. «Женщины не в меру эмоциональны и впечатлительны, – думал он, – стоит ли обращать внимание на их бесконечные капризы». Ему не терпелось посмотреть на часы, но он не решался из-за того, что Марина крайне отрицательно относилась к его попыткам контролировать время или сокращать часы их встреч. Она умудрялась запросто устроить небольшую, но малоприятную сцену из-за подобной мелочи. В последнее время он все чаще стал ощущать ее раздражение, исходящее от ее же, собственной нетерпимости и недовольства ситуацией.

Олег Васильевич был доволен собой, как никогда, и, раскрасневшийся и помолодевший, в отличном расположении духа, торопливо одевался, при этом всем видом пытаясь показать, что делает он это не спеша. Марина, бледная и злая, нехотя натягивала чулки, проклиная свое влечение к этому уже не слишком молодому, к тому же женатому человеку. Она нарочито долго одевалась и причесывалась, видя, как он, исполнив заключительный аккорд в этом любовном поединке, старается побыстрее от нее отделаться. Ее бил легкий озноб, тело покрылось гусиной кожей, но она все тянула время и не надевала платье. Марина болела этим мужчиной, она чувствовала его отстраненность и ревновала к той жизни, в которую он так спешит, к жизни, наглухо закрытой от ее глаз. Ей невыносимо захотелось наговорить ему разных пошлостей, устроить постыдную бабскую истерику и расстаться навсегда, или же броситься к его ногам и вымалывать хоть немного любви, кланчить позволения остаться в его жизни, насколько это возможно. Она принялась молить какую-то небесную милость сжалиться над ней и послать избавление от мук. Олег поймал ее отчаявшийся взгляд:

– Не огорчайся, Марочка, ты взрослая, слишком взрослая, чтобы так по-детски надувать свой прелестный вишнёвый ротик. Когда мы начали встречаться, ты прекрасно знала, что я женат и все места в моей жизни заняты. Свободных мест нет и не будет, так уж вышло. Ты была готова это принять, мы ведь заключили с тобой договоренность о ненападении. А сейчас ты почему-то злишься. Это против правил. Нехорошо, очень плохо.

Она из последних сил сдерживала себя, чтобы не начать военные действия против его чудовищных правил, с которыми она когда-то согласилась, против его семьи, его самодовольных ухмылок, против грязных морковных занавесок, против всей его жизни. Но она взяла себя в руки, и ее голос звучал на удивление спокойно:

– Алик, любимый, время не стоит на месте, его нельзя остановить в определенном положении, согласно уговору. Мне казалось, мы полюбили друг друга и можем позволить себе пересмотреть наши взгляды друг на друга и жизнь в целом, – попыталась неуклюже философствовать Марина.

Она зачем-то напялила на себя его рубашку, а его ужасно раздражали подобные женские прихоти, он понимал, к чему всё это. На рубашке непременно останется запах женских духов и женского пота. Как это «мило», особенно для женатого мужчины. «Полюбили-разлюбили. Слова, Слова. Она хочет опять втянуть меня в этот неприятный разговор. Нет, красавица моя, ничего у тебя не выйдет, – думал Олег Васильевич. – Как им всем не надоело выяснять со мной отношения, ну, честное слово».

Он подошел к окну и нервно отдернул в сторону засаленную морковную занавеску. Небо затягивали тяжелые тучи, принуждаемые надоедливymi ударами северного ветра. Чернели голые деревья, в кустах кое-где завалились прошлогодние неубранные листья. Какая скука... Олег словно потускнел и как будто разочаровался то ли в Марине, то ли в занавесках. Он вдруг вспомнил, как его любимый пес Вергилий, весело виляя облезлым хвостом, едва почуяв шаги Олега, трусит своей старческой походкой навстречу хозяину, как он неизменно укладывается у его ног, положив на вытянутые передние лапы свою тяжелую голову с мудрыми говорящими глазами. Как его любимая дочка Леночка, придя домой с работы, широко раскинув руки, бежит обниматься и целовать сначала его, Олега, а затем Вергилия. Потом, обцелованная псом, долго плюется, вытирается и, хохоча и подпрыгивая, громко всем сообщает, что «это ужасное слюнявое чудовище нестерпимо воняет псиной». Старший сын, Олежка, которого он горделиво нарек в свою честь, обниматься с собакой не кидался, но зато на протяжении последних десяти лет дважды в день выводил его на улицу и сам мыл ему лапы после прогулки. Серьезный Олег Олегович с особой тщательностью следил, чтобы в мисочке у Вергилия всегда была налита свежая вода, и страшно ругался на всех, когда дно миски было совершенно сухое. Ленке до этого всего не было дела, ей лишь бы обниматься, а гулять с огромной, старой собакой сейчас, видите ли, не модно, люди засмеют. Ленке уже двадцать три, ну и что, он любит ее так же, как в три года, и не готов обменять свою давно устоявшуюся жизнь, пусть и пресную семейную, на сомнительные прелести Марины Елецкой.

– Олег, о чем ты думаешь? Ты думаешь о ней?

– О ком? – вздрогнул Олег Васильевич, испугавшись, что она прочла его мысли.

– О жене.

– Дура, – сорвалось с его обычно вежливого языка. – Извини, – тут же спохватился он, – нет, я думал не о жене.

– А о чем? О другой женщине? – завелась Марина.

– Послушай, Мара, у меня нет других женщин, кроме тебя, а с женой я не сплю уже много лет. Я однолюб, и, кроме тебя, мне никто не нужен. И не забывай, пожалуйста, о моем возрасте. Я твой старый и верный пес. Меня, кроме охоты и работы, ничто уже не забавляет. Так что оставь ты в покое хоть мои мысли. Они принадлежат лично мне. Они моя собственность, которую я оберегаю от всех людей, и я не желаю ими делиться. Понимаешь, какая штука?

В ней поднялось чувство ужасной неловкости, которое наступает после невольно допущенной грубости или бестактности. Жалобно заныла душа, точно просила о помощи. Если они сейчас разойдутся, не поговорив, не объяснившись, душа еще долго будет скулить от неизвестности. Марина не могла и не хотела отпускать его просто так, она жаждала его слов, пусть неприятных. Это лучше, чем ничего.

– Что с нами будет дальше, Олежек?

– Мариночка, где мне знать? Я ведь не пророк Илия. Поживем – увидим.

Она выглядела глуповато, но ей непременно хотелось заставить его говорить об этом.

– Я знаю, ты сейчас ты спешишь к своей жене, – она снова попыталась начать неприятную сцену, которой он старался избежать.

– Мариночка, не ревнуй меня, умоляю. Я слишком стар для всех этих страстей и страстишек, и охоту на медведя и уток люблю больше женщин. Правда, на свете есть одна женщина, которой я сильно интересуюсь, – это ты. Помимо жены, у меня есть двое детей, которых

я должен ведь как-никак поднять и поставить на ноги. К ним я могу спешить? Это не возбраняется? – сказал Олег Васильевич, а про себя подумал: «Простите, ребята мои, что ваш отец бессовестно спекулирует вами, но ситуация, к сожалению, обязывает».

– Какие дети, Олег, им ведь скоро по тридцать лет будет.

– А вот это вас, Марина Андреевна, совершенно не касается. В начале нашей встречи я тебя предупреждал, что свободен только до шести, ты на это с радостью согласилась. Сейчас половина седьмого, а я до сих пор здесь из-за того, что ты никак не закончишь одеваться. Что происходит, Марина? – все еще стараясь быть вежливым, сказал Олег Васильевич.

– Это у меня двое маленьких детей, и сейчас они дома одни, а я при этом не смотрю на часы.

– Напрасно вы этого не делаете, мамаша.

– Ты просто самовлюбленный наглец, – не сдержалась Марина, – ты используешь всех исключительно для своей радости и удовольствия. Это безнравственно. Ты меня раздражаешь своими низменными принципами, – она почти кричала.

В комнату, где еще стоял пьянящий запах любви, просочился отрезвляющий дух ненависти. Она закрыла лицо руками, чтобы спрятать дрожащие ресницы и полные слез глаза. Ее разум не мог примириться с тем, что нужно встать, мило улыбнуться, попрощаться, протянув руку, и удалиться с гордой, прямой спиной в пустоту. Ведь именно этого он ждал от нее.

А ей хотелось, чтобы он сейчас же подошел к ней, ласково обнял за плечи, прижал покрепче, и шептал успокоительные, извиняющиеся слова.

«Ну, держись, – мысленно вскипел Олег, – ты сама этого хотела. На меня где сядешь, там и слезешь».

– Никогда не знал, что жизнелюбие и самолюбие – это какие-то страшные, запретные понятия. Вот тайные встречи с чужим мужем я бы скорее назвал запретным и безнравственным. Чужие грехи, они ведь скорее бросаются в глаза, чем свои собственные. Не так ли, а, Марина Андреевна? Чего молчишь-то? – он чеканил слова не спеша, цинично-ироничным тоном, с привкусом металла.

– Да, я люблю жизнь, я люблю ее всей душой. Да, я не перестаю ею наслаждаться. Это мой единственный, волшебный, фантастический роман, который никак не заканчивается. Роман, полный гармонии с миром, с жизнью, с существованием. Как угодно, как тебе больше нравится. Моя любовь к жизни, а жизни ко мне – это взаимное чувство, и оно ежедневно наполняет меня радостью. Я ведь этого никогда не скрывал, Боже упаси. Я с удовольствием поедаю жизненные плоды, наслаждаясь их спелым соком и не задумываясь, не рассуждая, как некоторые, предаюсь счастью. У меня все отлично! Это у тебя вызывает раздражение? Это тебя выводит из себя? Весьма сожалею, моя прекрасная Сирена, но поделаться ничем не могу. Тебе же больше по вкусу страдать, выискивать разные несовершенства в жизни. Даже в нашей сегодняшней прекрасной встрече ты готова найти изъяны и от этого портить себе и мне настроение. У нас с тобой отличная постель, почему бы этому не порадоваться? Но нет, тебе это недоступно. Страдания, или поиск страданий – то, чем ты так усердно увлечена, совсем не для меня. Каюсь. Виноват.

Марина не отвечала. Она долго и внимательно смотрела на него своими выразительными глазами. В этом ее взгляде, помимо ужаса и злости, было и недоверие. Ей казалось, что он лжет, мстит ей за несдержанность и нарочно желает сделать больно. А на самом деле все еще любит ее. Марина отвернулась, чтобы не сверлить его взглядом, и поняла: не этого она от него ждала. Ей захотелось немедленно все исправить, отмотать на час назад, чтобы не было этого неприятного разговора, загладить свою вину, прильнуть к нему всем телом, только бы не слышать металл в его голосе. Слабая улыбка робко проскользнула на ее бледных губах, но Олег Васильевич счел это насмешкой и в пылу решил укрепить оборонительные позиции:

– Никто из нас двоих не получил того, что хотел. Но я, в отличие от тебя, претензий не имею. Ничто не вечно в этом мире, и наши отношения тоже.

На какое-то мгновение они оба замерли: он – от того, что наконец посмел сказать это, она – от того, что ей довелось это услышать.

– Ты бросаешь меня? – несмело спросила Марина.

– Я этого не сказал. Пока не сказал. Мара, ничто не вечно, мир так устроен, и ты, как врач, знаешь это лучше других. Все имеет начало и конец. Любые отношения, как ни печально это осознавать, заканчиваются. Либо это происходит в силу жизненных обстоятельств, либо смерть их прерывает, и они все равно заканчиваются. Каждый человек наверняка знает одно про эту жизнь – она конечна, но мы ведь об этом стараемся не задумываться. А если даже и думаем, то это никак не мешает нам вкусно обедать, сладко спать, от души смеяться, греться на солнышке, словом, наслаждаться жизнью. Любовь тоже когда-то заканчивается, рано или поздно, и не стоит из-за ее конечности отказываться от ее сегодняшних радостей.

Говорил он все это совершенно спокойно, уже без напряжения, уверенным тоном «мужчины нарасхват». Марина чувствовала себя отворотительной, жалкой дурой, готовой мириться с чем угодно, лишь бы не остаться без него. Ей совсем не хотелось нести тяжкий титул покладистой и удобной любовницы, но выбора он ей, кажется, не оставил.

– И вот что еще: у меня к тебе есть одно, на мой взгляд, важное предложение, – он сделал зачем-то внушительную паузу, словно собирался ей предложить нечто действительно важное и достойное. Она, услышав это волшебное, это долгожданное слово, вся затрепетала, как весенняя бабочка-капустница, перед первым полетом. – Давай будем поменьше рассуждать о наших отношениях, выяснять их, анализировать. Это слишком утомительно, я так больше не могу. Наоборот, впредь будем как можно реже включать мозги. Половая жизнь, обузданная разумом, – это прямой, я бы даже сказал, неизбежный путь к импотенции. Я к этому пока не готов, извини.

V

Марина Андреевна стояла у дверей пятнадцатой квартиры. Сегодня это был последний квартирный вызов в ее длинном списке, конечно, если не случится какая-нибудь неожиданность. После работы она планировала пойти и подлечить саму себя у... психолога. А вдруг поможет? Сейчас она старалась не думать об этом.

Дверной звонок издавал печальные звуки, как водяной из мультика про летающий корабль, подвывал и причавкивал перед тем, как плюхнуться в воду. Массивная железная дверь, скромно украшенная деревянной панелью, мгновенно распахнулась. Сразу видно: ждали.

– Здравствуйте, Марина Андреевна, – сказала обаятельная молодая женщина, приветливо улыбаясь и пропуская доктора в квартиру.

– День добрый, Наталья Леонидовна, что у вас произошло?

– Мы заболели. Температура держится со вчерашнего дня, правда, невысокая, но...

«Ох, уж мне эти неработающие мамочки-наседки, – заскрипела про себя Марина, – мы заболели, мы писаемся, мы какаемся, мы кусаемся, мы, мы, мы...»

– Вы заболели вместе с ребенком?

– Нет, это Котенька заболел, а я чувствую себя превосходно, – ответила женщина.

– Наталья Леонидовна, Константину почти шесть лет, а вы до сих пор не отделили его от себя, и говорите «мы», словно он не сам по себе, человек, а какая-то ваша часть.

– Что это сегодня с вами, Марина Андреевна, – женщина непонимающе пожала плечами, – он и есть часть меня, и всегда ею будет. Мы и в школу вместе пойдем, и в институт поступим, и мы будем вместе..., ой, а что? Что-то не так?

Марина спокойно, почти равнодушно вздохнула, ей довелось в своей жизни столкнуться с подобным, и это оказалась слишком печальная история безграничной власти матери над инфантильным, не способным взрослеть сыном, но она не для воспоминаний на работе. Ни к чему сейчас заглядывать в прошлое, как-нибудь в другой раз.

По длинному коридору выбежал белобрысый, вихрастый мальчик в коротких шортах и фланелевых тапочках в виде двух заячьих голов с длинными ушами и глазками-пуговицами, с куском пирога в руке, и закричал, что было сил:

– Мара пришла, ура, Мара пришла! Мама, одевай скорее бусы и будешь такая же красивая, как Мара! Ура, Мара пришла, будем слушать меня в трубочку!

Перед самой Мариной он успел резко затормозить и на всякий случай прижаться к материнской ноге.

– Где вы видите здесь Мару, молодой человек? – пытаюсь изо всех сил быть строгой, спросила Марина. – Константин, меня зовут Марина Андреевна. Добрый день.

– Добрый день, Марина Андреевна, – вежливо и очень серьезно ответил мальчик, почтительно склонив голову. Но уже через секунду, покончив с утомительными, взрослыми приличиями, понесся обратно вглубь квартиры и опять во весь голос закричал: – Бабушка, Мара пришла! Я буду болеть часто-часто, и Мара будет приходить ко мне каждый день.

– К счастью, на тяжелобольного он совсем не похож, – сказала довольная Марина и пошла в ванную мыть руки. – Ну, что ж, это уже хорошо. Сейчас начнем осмотр.

Марина Андреевна всю свою жизнь жила и работала на Петроградской и особенно не задумывалась над тем, любит она центр города или нет. Свой район с детской поликлиникой, в которой работала, и отведенным ей во владения участком с множеством домов, местами облупившихся, местами идеально выбеленных, куда она бегала по вызовам к больным детям, со старыми покосившимися деревьями, бездомными кошками и собаками, она считала родным,

почти что своим собственным, а вот центр? Конечно, она гордилась его элегантной изысканностью, особенно после того, как сама несколько лет назад, в одиночестве (Олег отказался составить ей компанию), путешествовала по Европе. Она переезжала из города в город, постепенно нанизывая на ниточку памяти множество радостных впечатлений. Марина всегда с удовольствием сообщала вопрошающим, в каком именно городе она проживает. Под конец отпуска она это говорила с особой гордостью, улавливая на себе неизменно одобрительные взгляды окружающих.

Сегодня в центре она была захвачена в плен трехрядной вереницей машин, и не думающих двигаться. И это своеобразное заточение породило ясную мысль: нет, не любит она центр, она его терпеть не может. Где это видано: для того, чтобы проехать крохотный, десятиминутный отрезок, может потребоваться целый час? Появлению на свет этой простой мысли способствовали страшная грязь, образовавшаяся повсюду на дорогах, мгновенно липнущая к стеклам и дверям. Перед ее носом оказалась старая скрипучая машина, которая поминутно икала и фыркала на капот ее крохотного красного автомобильчика, только вчера намытого до блеска и отполированного. Потом перед ней возник громадный автобус, на задней части которого было наклеено желто-серое лицо четырёхлетнего ребёнка, умирающего от рака последней стадии. И она вынуждена была смириться и смотреть. Нет, она не против благотворительности, а очень даже «за», но всё-таки надо бы как-то поделикатнее. Не все водители, застрявшие в пробке, способны долго и безболезненно выносить такую откровенную реальность. Не все закоренелые гуманисты и подготовленные медики, кто-то даже не заметит, а кто-то разнервничается и даже сам не поймёт, отчего понесётся по дороге на большой скорости и кого-нибудь собьёт.

Побыстрее хотелось уехать, но она застряла у светофора, который всех удерживал своим настойчиво красным светом, и не думал переключаться. Ей казалось, что даже взгляды водителей из других машин, обращенные к ней, сегодня были какие-то неприязненно-насмешливые, словно на ее лобовом стекле было большими буквами написано, что она отправляется к психологу.

Марина заметно нервничала, и от этого теребила свои вьющиеся светло-русые волосы и потирала уставшие глаза с длинными пугливыми ресницами. Ей вовсе не хотелось ехать к какому-то там психологу, что уже само по себе неприятно и даже как-то неприлично, да еще, вдобавок ко всему, принимающему в центре города. Так что Марина Андреевна безотчетно, пожалуй, радовалась этой самой автомобильной пробке, поймавшей ее в свои сети. Она даже попыталась разглядеть в этом знак судьбы, уловить в этой отсрочке подсказку свыше, но ничего путного на ум не шло. Мысли упрямо двоились. То настаивали на том, что все-таки необходимо скорейшим образом добраться до этого самого злополучного психолога или психотерапевта, прости Господи, и побыстрее оставить позади все ужасы первой встречи, то наслаждались уединением в машине, свободой и потихоньку, тоненьким голоском приговаривали: «Что ни делается, все к лучшему, не судьба, все заранее за нас предрешено, так что нечего и дергаться». «Вообще говоря, – рассуждала Марина Андреевна, – я запросто могу обойтись и без психолога, что я, немощная, что ли? К психологам ведь ходят слабаки и неудачники, да и то тайком. А у меня и так все отлично: двое прекрасных сыновей, любимая работа, и мужчина тоже есть, может быть, я даже замуж за него скоро выйду. Я сама себе психолог, самое главное – это говорить себе, что все отлично. Тогда все и будет отлично. Олег тоже предлагает поменьше думать и рассуждать, может, стоит его послушаться, глядишь, куда-нибудь да вынесет. И в институте я психологию изучала, правда, ее было совсем мало, и я ничего толком не помню. Неважно... Кроме того, психологи эти сами ничего не знают, нахватаются по верхам, две-три книжки прочитают, и бегом советы раздавать направо и налево. Ну откуда им знать, как для меня будет лучше, если я сама ничего про себя не знаю».

Настроение у Марины заметно улучшилось, на лице появилось выражение детской радости, и она даже собралась при первой возможности сделать разворот в сторону дома. Вдруг

внезапно в своем сознании она увидела перед собой грустное личико младшего сыночка Сереженьки, который робко смотрел на нее в тот самый момент, когда она прихорашивалась в прихожей перед зеркалом, собираясь на свидание к Олегу Васильевичу. Сереженька стоял босиком на холодном полу в ночной пижаме Мити, которая досталась ему по наследству от старшего брата и была велика на два размера. Тоненькие ручки и ножки сиротливо выглядывали из широкой одежды, так что казалось, что под пижамой совсем ничего нет. Сереженька терся спиной о стену, сжимая в кулачке маленькую металлическую машинку.

– Мамочка, не уходи. Не уходи, пожалуйста.

– Прости, родной мой мальчик, но у меня срочный вызов. Маме нужно на работу, меня ждут больные детки.

– Нет, нет, – закричал Сережа, – это неправда, ты все врешь, ты идешь не на работу! На работу ты так не собираешься, на работу ты хватаешь сумку и бежишь. Я знаю, ты все врешь! Я не хочу, чтобы ты туда ходила, и Митя тоже не хочет! Мы оба не хотим! – Сережа с плачем убежал в комнату и с силой захлопнул дверь... Марина очнулась. Скопление машин как-то неожиданно испарилось, и она оказалась у большого бело-стеклянного дома – смеси сталинского ампира с черт знает чем. Непосредственно в этом самом здании, будь оно неладно, психолог как раз и принимала. «Дурновкусие какое», – фыркнула Марина. Часы показывали пятый час, а назначено ей было ровно на четыре. Пренебрегая этим обстоятельством, Марина Андреевна не спеша, нарочито долго парковалась, медленно вышла из машины, оглядываясь на мрачный, пыльный город, зловеще ей усмехающийся блеском своего холодного, осеннего солнца. Она поправила на себе платье из искусственного шелка, купленное два года назад на распродаже в Риме и, тяжело вздохнув, шагнула в омут неизвестности из стекла и бетона.

Вот она взялась за холодную ручку нужного кабинета, обдумывая, как бы увернуться, застыла в нерешительности. «Еще не поздно и можно потихоньку уйти, а потом позвонить и извиниться, сославшись на непредвиденные обстоятельства», – говорил ей один голос. «Не бойся, все будет хорошо, отступить поздно, ты ведь совсем одна и к тому же запуталась; открыть дверь – это проявление силы, а не открыть и убежать – это слабость. Ну же, иди». «Иду», – шепнула себе Марина и открыла дверь.

Кабинет был слишком белым, залитым дневным светом через большое окно во всю стену. «Хирургия какая-то, скальпелей не хватает», – подумала Марина. При таком свете она чувствовала себя крайне неуютно и казалась самой себе еще больше.

– Располагайтесь, пожалуйста, поудобнее, – тут же произнес голос психолога, показавшийся Марине излишне писклявым и каким-то неискренним.

Марина Андреевна, сжав зубы, послушно присела на краешек дивана. Она ужасно не любила мягкую мебель вообще, а диваны как-то особенно, так как сначала в них утопаешь, приминая ткань платья на спине, а когда приходит время себя выковыривать, это выглядит совсем малопривлекательно. Ей нравились высокие, жесткие стулья, как у них в поликлинике. Белый диван, как назло, оказался довольно жестким, но ни о каком удобстве не могло быть и речи. Сердце сильно забило, она наконец-то посмотрела на психолога и тут же отвернулась. Это была не слишком молодая, не слишком красивая, довольно хрупкая, но не в меру отутюженная женщина. Про таких рано начинают говорить, что они хорошо сохранились. На ней было облегающее черное платье, которое подчеркивало ее худобу, и жесткое лицо с заостренными чертами неопределенного возраста. Она непринужденно расположилась в кресле напротив и устремила на Марину свой уверенный взгляд. Марине не нравились такие женщины, она видела в них что-то хищное или хотела видеть именно это. Она уже открыла было рот, чтобы представиться, но психолог ее опередила:

– Меня зовут Нелли, – на ее губах мелькнула улыбка, показавшаяся Марине снисходительной. В ответ она только кивнула головой, пытаясь быть любезной, но понимала, что у

нее это совсем не получается. Она молча изучала окружающую обстановку: белое пространство, на стене в изобилии висят какие-то сертификаты и дипломы. «К тому же хвастунья и выскочка», – зло подумала Марина. Стол завален горами книг, бумагами, исписанными энергичным твердым почерком. «Оригинальничает, не пользуется компьютером», – продолжала ехидничать Марина. Ей было неудобно и неловко рядом с этой женщиной, которая ей нравилась все меньше и меньше. Она вся сжалась, старательно подбирая свои большие, длинные ноги, обутые в простые черные туфли, не слишком новые, зато любимые и очень удобные для работы. В желудке было тяжело от плохо прожаренной баранины, которую она слишком торопливо ела с картофельным пюре сегодня на обед в столовой, и теперь эта самая баранина так некстати стояла комом внутри. Марина ругала себя за это. Хотелось пить, но попросить воды было неудобно, от этого раздражение только усиливалось. Марина опустила глаза, в очередной раз попыталась одернуть на груди тесное платье и только теперь обратила внимание на туфли психолога и даже поморщилась от досады. Светло-бежевые, на среднем каблучке, непонятно из чего сшитые, на вид ничего особенного, но Марина не так давно видела такие же туфли, выставленные на специальной подставочке в витрине одного дорогого магазина. Настоящий шедевр. Она остановилась у той самой витрины, сразу же обратив внимание на цену, и от неожиданности даже свернула губы трубочкой. Она долго и пристально их изучала, завидуя той женщине, чьи ноги будут украшены таким произведением обувного искусства. Ей подобные вещи были не по карману, а Олег Васильевич, который запросто мог бы себе позволить небольшое расточительство, дарил ей исключительно дешевые безделушки, неоднократно и заученно настаивая на том, что в подарке главное не цена, а внимание и искренность. Будто бы нельзя быть внимательным и искренним, даря что-то дорогое. Сейчас она видела эту женщину перед собой и чувствовала, как растет ее неприязнь и отвращение ко всему происходящему и в первую очередь к ней, к сидящей напротив и скрестившей свои стройные ноги в мало кому доступных туфлях, словно это была соперница, претендующая на ее возлюбленного. Рядом с ней Марина чувствовала себя еще крупнее, ей хотелось как-то сжаться, чтобы занимать поменьше места. Даже собственная роскошная грудь, предмет неизменной гордости и мужского обожания, та самая грудь, которой она с легкостью вскормила двух своих сыночков, казалась сейчас слишком громоздкой. Марина стеснялась ее и поправила платье в том месте, где расходились пуговицы. Какого дьявола ее сюда все-таки занесло?

– Я Марина Андреевна, можно просто Марина, – она попыталась взять себя в руки и сдержать собственное раздражение, – что я должна вам рассказать?

– Рассказывайте о себе все, что, как вам кажется, я должна знать о вас. Можете рассказывать последовательно или хаотично, как вам удобно. Это не столь важно, я пойму.

«Ишь, ты, какая понятливая, – зашипела про себя Марина, – так я и буду перед тобой душу выворачивать, сейчас пробежусь, как легкий ветерок, по верхушкам деревьев, и привет! Раз уж пришла, не платить же тебе деньги, к тому же немалые, впустую». Марине совсем не хотелось лезть глубоко в себя, ей было страшно говорить о своих центральных проблемах, она решила спрятаться в так называемом «белом шуме», то есть сделать основным фоном разговор о чем-то несущественном, не больном, например, о работе или непомерно высоких налогах, отклоняться и поскорее закрыть дверь с другой стороны, напрочь позабыв сюда дорогу.

Марина вкратце пыталась изложить свою историю, чтобы как-то отделаться от этого неприятного кабинета, женщины напротив, дорогих туфель и прочей отвратительной дребедени. Она говорила о несправедливости, которую творила заведующая поликлиники, ставя Марину Андреевну одну на два участка. А участки эти находились далеко друг от друга, практически в разных концах микрорайона, и доплачивать за дополнительную работу никто ей не спешил. Так что приходилось трудиться бесплатно. В регистратуре постоянно виснет компьютер, и пациенты приходят на прием без карточек, но никому и дела нет. Все та же заведующая часто ставит Марине субботние дежурства и даже с ней не согласовывает, а ведь у нее два

малолетних сына. На ее участке много неблагополучных семей, где пьянствуют оба родителя, а детки болеют часто, и Марина сама, за свои собственные деньги покупает им лекарства. Ее отец тоже сильно пил, он был «вечно молодой, вечно пьяный» Андрейка без возраста и особых занятий, жизнь называл тленом, на который не стоит излишне обращать внимание, интересовал его разве что «Pink Floyd», да и то под выкуренный косяк, но она, по счастью, всегда была здоровым и крепким ребенком.

Марина в изумлении замолчала, чуть было, не закрыв себе рот ладонью. Она пожалела о своих последних словах, мучительно недоумевая, как случилось, что она завела речь об отце. Воспоминания о родителях всегда терзали ее, и она прятала их от себя подальше, не желая знать эту трудную правду. Ей было приятнее думать, что позади ее нет никакого родословного древа, чьей достойной порослью она, собственно говоря, и является. Грудь ее высоко поднялась и опустилась, и она вопросительно посмотрела на психолога. Зачем она полезла вглубь, к корням, если намерения были совсем иные, она ведь планировала проскользнуть по верхам, улыбнуться, откланяться и бежать отсюда бегом.

Сердце красным раскаленным углем прожигало насквозь последние крохи самообладания. Вот встать бы, уйти, убежать, раствориться, исчезнуть, все что угодно, лишь бы не сидеть перед этим рентгеновским аппаратом в туфлях, и не вспоминать отца с его недельной щетиной и не всегда застегнутой ширинкой. Марина задержала дыхание и как-то быстро сжалась, ей захотелось уменьшиться до размеров песчинки и побыстрее укрыться от бесшумно пролетевших перед глазами теней прошлого.

– Вы можете продолжать? – спросила психолог.

– Я не знаю, что говорить.

– Вы говорили об отце.

Марина смутилась взгляда этой совершенно чужой женщины, неосторожно заглянувшей в ее душу. Случилось так, что жизнь Марины была не то чтобы тайной для всех, вовсе нет, просто ею никто особенно не интересовался: ни ее детством, ни отцом, ни ее чувствами, и теперь она не знала, бояться ли ей этого внезапного оглашения или нет. Конечно, ей было бы приятно, если б любимый человек, Олег Васильевич, оказался более сентиментальным и любопытным по отношению к ней, раздвигал бы горизонты времени и отправлялся посмотреть на ее детство, но, увы, его не занимали подобные несущественные пустяки.

– Я не желаю выставлять напоказ свое детство, свои отношения с отцом и матерью. Мне кажется, обнажать обгорелые конечности – это какое-то извращение. А вы мне предлагаете этим заниматься публично. Об этом хочется забыть и никогда не вспоминать. Говорить об этом – все равно, что откапывать давно погребенные останки.

– Марина, все, что происходит в этом кабинете, строго конфиденциально.

То, что она пережила в детстве, было слишком сокровенное. Она выросла в этих переживаниях, и они отпечатались на ней, как сложный рисунок на ткани. До конца она этого не осознавала, но стремление оставить детские переживания в прошлом было всегда. Так безопаснее, незачем тащить за собой эту некрасивую, ободранную поклажу. Однако из курса психологии в педиатрическом институте она помнила, что проблемы детства, так называемые детские травмы и далее посттравматический стресс, определяют поведение человека в настоящем и будущем, но относилась к этому, пожалуй, с недоверием и даже с некоторой долей легкой иронии. Она не применяла эту информацию к себе и своей жизни и ею не интересовалась всерьез. В ее отношениях с Олегом за пять лет не произошло никаких изменений, они, то есть отношения, оставались недоразвитыми, такими, как в первые месяцы их знакомства. Поначалу Марине казалось, что это лишь прелюдия, а настоящая история любви ждет ее впереди. Поначалу ей нравилось целыми неделями ждать его звонка, думать о нем, представлять, как они встретятся. Потом ей все это наскучило, она предпочла бы жить с ним открыто. Однако в последнее время она обратила внимание, что все как-то незаметно подошло к концу, так тол-

ком и не начавшись. Ей вовсе не хотелось расставаться со своими иллюзиями, но Олег не позволял ни ей, ни себе говорить об их отношениях в будущем времени, он внимательно следил, чтобы мечты и фантазии не уносили ее далеко. Они не строили планов о совместной жизни, ну или хотя бы совместном отдыхе. Их реальность ограничивалась выбором времени и места для встречи, иногда совместным выбором сорта вина. Марина долго пыталась отыскать на его лице выражение неудовлетворенности от подобного примитивного однообразия, но тщетно, Олег Васильевич чувствовал себя превосходно, а выглядел еще лучше. Тогда Марина нехотя стала понимать, что не случай или судьба, или его жена, а именно он сам, сам Олег, придерживает их отношения в этом утрированном однообразии, всячески стараясь его оберегать. Это ведь у нее, Марины, в жизни неопределенность, а у него все предельно ясно и тщательно спланировано им же самим. Перемен-то хотелось только ей, Марине. Это ей не терпелось вырваться из этого тоскливого порочного круга, превратиться из вульгарной любовницы в степенную, домашнюю, замужнюю женщину. Она совсем не заметила, как погрузилась в свои мысли, откуда ее вызвал писклявый голос психолога:

– Марина, вы можете думать вслух.

– Я ни о чем таком не думаю, – она заняла оборонительную позицию, – просто устала, никаких мыслей нет, даже нечем вас порадовать.

Психолог молчала, уверенно и даже равнодушно глядя прямо на Марину. Ее лицо за толстыми стеклами старушечьих, старомодных очков казалось непроницаемым. Она отчего-то не спешила задавать свои дурацкие вопросы, и от этого Марине становилось еще тяжелее. Наконец она сняла уродливые очки и отложила их в сторону. Лицо ее мгновенно преобразилось и помолодело, она улыбалась одними глазами, вполне безобидно, как бы подбадривая Марину. Марине показалось, что она как будто предлагает ей побороть свою недоверчивость. Все это было слишком заметно и хорошо читаемо, что само по себе уже отталкивало, кроме того, взгляд Марины вновь натолкнулся на туфли, так нескромно напомнившие о себе и такие неуместные в рабочей обстановке. Внутри вновь мгновенно поднялось раздражение, которое Марина с трудом пыталась до сих пор удерживать, поминутно прикладывая влажные, холодные ладони к покрасневшимся щекам.

– Марина, что вы чувствуете, находясь здесь, в этом кабинете?

– Я вообще ничего не чувствую, кроме вооруженного военного переворота в животе из-за того, что объелась баранины, – быстро и злобно ответила Марина, – впрочем, нет, я чувствую, что зря сюда пришла.

Марина думала, что психолог разозлится и вспылит, но она и глазом не повела, а продолжала говорить своим тягуче-писклявым голосом.

– В первый раз говорить о себе крайне трудно, трудно и непривычно, но я уверена, что вы справитесь. Когда у вас возникло чувство, что вы зря сюда пришли?

– А вот прямо сейчас и возникло.

– Как вам кажется, почему это произошло?

– Понятия не имею, вы же психолог, вы и разбирайтесь.

– Марина, я пытаюсь вам помочь, только и всего, но если вы будете этому препятствовать, то сделать это будет сложнее, вы не находите?

– Нет, не нахожу, а напротив, думаю, что мне совсем не нужна ваша помощь. Я училась в педиатрическом и там превосходно ознакомилась с этой вашей психологией. Не верите? Могу продемонстрировать, – теперь уже Марине откровенно хотелось нагрубить и разозлить психолога, сделать так, чтобы психолог сама послала ее ко всем чертям.

– С удовольствием, продолжайте, пожалуйста.

– Острый психоз – я разговариваю с котом.

Острый галлюцинаторный психоз – я разговариваю с несуществующим котом.

Шизофрения – мой кот говорит внутри меня.

Маниакально-депрессивный психоз – мой кот меня не любит.

Параноидальный психоз – мой кот что-то замышляет, я боюсь сболтнуть лишнее.

Неврастения – мой кот меня игнорирует, и это невыносимо.

Разгоряченная Марина, заметив, что почти перешла на крик, мгновенно запнулась и замолчала, в очередной раз старательно оправив на себе платье.

– Любопытно, – только и всего сказала психолог.

Марина пыталась остыть, сидя насупившись, но через некоторое время, вновь взглянув на психолога, ядовито спросила:

– Нелли, мне кажется, ваши услуги непомерно дорого стоят. Почему бы вам не попробовать работать за более низкую цену?

– Видите ли, Марина, я не могу себе позволить стирать ваше белье за собственный счет.

Этот простой и логичный ответ, как легкая пощечина, мгновенно остудил пыл Марины.

– Я сегодня что-то не в себе, простите меня, – сказала она, пытаясь прийти в себя, – это оказалось сложнее, чем я думала. Просто я совсем не понимаю смысл всех этих разговоров.

– Марина, вам удастся увидеть больше, чем вы видите сейчас. Вы увидите нечто скрытое, и возможно, я говорю, возможно, вам удастся жить лучше, чем теперь.

Психолог держалась уверенно и спокойно, лишь слегка покачивая носком ноги, но Марину сильно злило ее спокойствие.

– А почему вы хотите мне помочь? Вам это зачем?

– Простите за бестактность, Марина, но я отвечаю вопросом на вопрос. Вы детей зачем лечите?

Марина слегка дернулась, как от небольшого электрического заряда, и недоуменно пере-дернула плечами, хотя и ждала этого вопроса. Она пылливо, почти со злобой, смотрела на психолога, решив не отступать и доискаться до правды.

– Вам что, интересно копаться в чужих душах?

– Марина, мне кажется, я к вам не в булочной пристала со своей помощью. Вы сами пришли ко мне. Я пытаюсь вам ее оказать. Работа такая... Я здесь, чтобы помочь вам. Вы должны знать – я с вами, и я на вашей стороне. Но на сегодня наше время, к сожалению, истекло, и нам с вами есть, над чем работать.

Марина облегченно выдохнула. Она встала, взяла свою сумку и быстро вышла, не взглянув на психолога.

Она долго стояла на улице, прислушиваясь к завыванию ветра и теребя в руках шарф из толстой шерсти, коловший пальцы острыми ворсинками. Первая тревога медленно пошла на спад, и Марина чувствовала это. Она вдыхала влажный воздух и сладкую городскую сырость своей сильной, широкой грудью, не в силах пошевелиться. Ветер трепал ее кудрявые волосы, а она все стояла, молодая и крепкая, и думала: «А ведь она и вправду пыталась мне помочь. А я? Зачем я так?» Она чувствовала себя не героем, а лишь одинокой жалкой истеричкой, пытающейся ухватить кусок, который ей не принадлежит. Теперь она стала походить на тех несчастных брошенных женщин, которыми наполнен город, которыми забиты все театры, магазины, кафе и спортивные клубы, всевозможные клиники, продающие красоту и молодость, на тех женщин, которые выдавливают из себя счастливые улыбки и пытаются не отчаиваться. Они только делают вид, что довольны собственной жизнью, а на самом деле неустанно рыщут повсюду в поисках добычи, в поисках лекарства от одиночества. «Ну, вот я и стала женщиной без принципов и морали, с чем себя и поздравляю. Я ведь не была такой раньше. Все-таки любовь – сложное, даже отвратительное чувство, оттого что способна губить и уничтожать добродетели, или это только моя любовь такая, – думала Марина. – Пожалуй, сходить еще разок к этой, в туфлях, не помешает, вот только надо держать себя в руках».

VI

Мария. Париж, 1937 г.

Осенний Париж... Природа в этом городе угасает нескончаемо долго, по-особенному, как будто величественно. Деревья не спеша прощаются с солнцем и благодарят его за щедрость и расточительство. Прежде чем уйти, они обряжаются в свои самые яркие, блистательные, волнующие цвета, в надежде растопить равнодушную холодность белого городского камня. Солнце, соблюдая установленный этикет, перед самым заходом неожиданно выступает из-за плотных туч, грациозно и снисходительно, как солист, виртуозно исполнявший первую партию, появляется в конце последнего акта и пробегается мягкой улыбкой вечерних лучей по верхушкам пестрых деревьев, вымощенным улицам, по серо-коричневой жести мансардных парижских крыш, напоследок срывая прощальные аплодисменты.

Мария Дмитриевна Лытневская медленно шла по набережной в сторону Сен-Луи, втянув голову в плечи и старательно разглядывая свои ноги в дешевых и никуда не годных черных туфлях с металлическими пряжками. Пора бы купить новые туфли. Вот только зачем они ей теперь? Жизнь вывернула ее наизнанку, как рукавицу, и новые туфли теперь ей как будто ни к чему. В рифленых сборках потрескавшегося асфальта стояла мутная дождевая вода. Два с половиной года она, вынужденная покинуть Родину, одиноко томилась в этом городе, который прежде так любила, а теперь тоскливо странствовала по его площадям и набережным, испытывая лишь горечь и досаду и совсем не замечая его прелестей.

Уличные продавцы книг раскладывали свой товар тут же, на набережной, на деревянные самодельные стеллажи, и на парапет, и прямо на землю, на кусок старого коленкора, вяло разговаривая с прохожими и друг с другом. Мария останавливалась, с виду спокойная и даже равнодушная, наклонялась, брала в руки первую попавшуюся книгу и принималась листать, как будто что-то отыскивала. На самом деле ей просто хотелось с кем-то поговорить. Так она пыталась спастись от одиночества, приходя к книготорговцам почти каждый день, но это, по правде сказать, мало ей помогало. Продавали здесь все подряд: книги на разных языках, кроме разве что русского, газеты, журналы, старые открытки начала века. Желающих купить было, правда, маловато. Все больше прохожие люди да бездомные кошки, проворно снующие между ног, вперемешку с колоритными парижскими клошарами. Иногда, соблюдая приличия, Мария покупала случайную книгу и, перекинувшись с продавцом парой незначительных фраз, отходила, чтобы отправиться в другую часть города и вернуться обратно.

Пыталась она устроиться на службу в журнал, в отдел обзора иностранной литературы, и, к её большому изумлению, ее даже приняли. Три недели она пребывала там, сидя в закутке у овального окна, среди прекрасных книг в разноцветных обложках, которые даже не начинала читать, оставаясь равнодушной к сложным, замысловатым шрифтам, переплетам, рисункам, виньеткам и прочей прелести книгоиздания, чего ранее за собой никогда не замечала. Тексты утратили для нее прежнюю гармонию и смысл – все то, чем она неизменно спасалась с самого детства. Мария чувствовала, что просто-напросто лишилась опоры в жизни, и продолжала тихонько сидеть в своем углу у окна длинными, скучными часами полнейшего бесчувствия.

Ее солнце словно бы уже зашло и больше не озаряло её мерзлую, коченеющую голову, а вдохновение давно пронеслось мимо, даже не обратив на нее внимания. Так бы она сидела еще довольно долго и равнодушно смотрела бы по сторонам бессмысленными, бесцветными глазами на спокойных и ладных сотрудников отдела, но все разрешилось довольно быстро, по прошествии трехнедельного срока, отведенного ей как испытание. Ранним утром перед Марией Дмитриевной Лытневской возникла управляющая в узком черном костюме, плотно облегаю-

щем суховатые бедра и резко оттеняющем белизну сорочки, застегнутой на все пуговицы. Она произнесла длинную фразу о невозможности и недопустимости такой работы в отделе иностранной литературы. Голос ее звучал хрипло и как-то нехорошо. Маша послушно глядела на нее и видела, как зло сверкают ее колючие серые глазки, как дрожат ее руки и легонько трясется седеющий, жиденький пучок волос на голове, не совсем понимая, что все это означает. На этом ее трудовая деятельность в отделе иностранной литературы окончилась, собственно, и не начавшись.

Мария Дмитриевна тогда предельно ясно осознала, насколько она развинчена и непригодна к дальнейшей жизни, как она мрачна и безучастна, она чувствовала себя ничтожной пылинкой в вихре жизненного безумия, одинокой пылинкой, зависшей в воздухе над черной пропастью, которая вот-вот слетит вниз, туда, откуда уже ей будет не выбраться. Тогда она поняла: ей больше не хочется делать то, что все люди называют жизнью. Она просто не знает, как продолжать делать то, что все называют жизнью. Не может она больше бесцельно бродить изо дня в день по этому чужому городу, пусть и прекрасному, но все же чужому, убивая время и ожидая непонятно чего. Он не пойдёт ей навстречу и ничего не сделает, чтобы помочь ей. Что же дальше? Попыток отыскать себе ремесло она решила пока не предпринимать. Ей нужна была помощь, самая обычная человеческая помощь, и Мария старалась её отыскать в этом чужом мире.

Сегодня она торопливо шла по набережной мимо книжных развалов не от скуки и не ради общения, а по привычке. Сегодня Мария Дмитриевна спешила, сосредоточенно поглядывала на свои крохотные наручные часики и не обращала внимания на гул доносящихся со всех сторон человеческих теноров, басов и сопрано, не замечая свежесть, плывущую от реки, и звон колоколов старого собора.

Она сидела в уютной, со вкусом отделанной приемной доктора Жане и терпеливо ждала назначенного времени. Это была просторная комната с высокими белыми стенами и массивными дверями с блестящими хромированными ручками, мраморным полом в традиционную черно-белую шашечку и двумя высокими округлыми окнами, сквозь которые прокрадывался янтарный свет парижского вечера. В углу за деревянным письменным столом расположилась немолодая женщина, помощница доктора Жане, мадам Боннар. Она то и дело посматривала на Марию, отрывая взгляд от каких-то бумаг, которые были аккуратно разложены на столе, и дежурно ей улыбалась. Мария, с уверенностью первой ученицы, отвечала ей той же любезностью и продолжала внимательнейшим образом разглядывать черно-белые шашечки на полу.

Последний раз она была здесь, в Париже, в 1906 году, когда ей было девять лет. С матерью, дедом и прислугой они на целый год обосновались в квартире недалеко от площади Согласия. Она отлично помнила эту поездку. Квартира была довольно просторной, но очень старой, так тогда казалось маленькой Маше, с крохотными декоративными балкончиками, увитыми настойчивым плющом. Рядом с Машинной спальней находилась округлая столовая с продолговатым столом и большая библиотека. Книги были в основном на французском и английском языках. Дальше располагалась очень холодная ванная комната с чугунным корытом на лапообразных, бронзовых ногах, ванная, которой невозможно было пользоваться из-за двух огромных окон, в которых постоянно гулял холодный ветер.

О том времени у нее сохранились самые светлые детские воспоминания: вот она идет с няней среди улыбающихся прохожих по дорожкам Люксембургского сада, а где-то невдалеке томно постанывает скрипка, прохожие исполняют слишком тесный танго. Маша тогда с интересом стала за ними наблюдать, но очень скоро запуталась в переплетённых ногах танцующих. Теплый вечерний ветерок, перемешанный с острым запахом жареных каштанов, пробежался по ее детским кудряшкам, выскользнувшему из-под белой летней шапочки. Каштаны жарили и теперь, но их специфический запах только раздражал её мучительной ностальгией.

Потом из России приехал отец, и они вдвоем пошли смотреть захватывающее зрелище с воздушными шарами. Она очень хорошо помнила, как они стояли в ликующей толпе, а огромный раскрашенный воздушный шар поднимался в воздух все выше и выше, прямо к небу. Маша приставила ладошку к лицу козырьком, чтобы получше разглядеть, как огромный шар набирает высоту. Публика приветствовала подъем воздушных шаров радостными криками, и казалось, что все вокруг счастливы. Маше было одновременно и страшно, и любопытно. Страшно, что сейчас раздастся оглушительный хлопок, шар лопнет и разлетится в стороны мелкими лоскутками, а любопытно, что же будет дальше с этим летающим волшебным чудом света. А воздушные шары летели, плавно покачиваясь, по светло-голубому, бесконечно огромному небу, подгоняемые небольшим попутным ветерком. Рядом шли легкие облака, отбрасывая на землю небольшие тени, откуда-то доносились звуки граммофона и запах кофе. Маша поочередно смотрела то на шар, то на улыбающегося отца, а потом не выдержала и засмеялась от счастья. А ближе к осени они катались на двухэтажном автобусе, которые в то время только-только появились в Париже. Автобусы эти возили из Сен-Жермен де Прэ на холм, к художникам. Тогда она гордо сидела рядом с отцом на длинной скамеечке автобуса и, от страха вцепившись в его руку, тихонько шептала: «Я очень тебя люблю, и мамочку». Отец прятал довольную улыбку в свою небольшую, хорошо ухоженную бороду, перевитую серебряными ниточками, а ей делалось от этого свободно и легко, будто ничего плохого или страшного в этом мире нет и быть не может. Душа ее отдыхала, не ведая, с каким страшным миром ей придется переплести свою жизнь. Потом, уже в сумерках, стоя на ступеньках белого собора, они долго сожалели о том, что мама заупрямилась и решительно отказалась ехать «в этом чудовищном, возмутительном экипаже». Отец, Дмитрий Николаевич, был высокий и сильный, с резким и приятным запахом табака. Опираясь он на свою любимую трость из светлого дерева с серебряным набалдашником в виде львиной растрепанной головы с двумя зелеными камнями вместо глаз. Они долго и медленно спускались пешком с холма, и отец что-то рассказывал о художниках, которые издавна облюбовали этот холм, и теперь это их место. Маша пропускала мимо ушей все его рассказы, она не видела его лица, но слышала его тихое и ровное дыхание, от которого исходила сила, свобода и счастье, и она крепче сжимала его руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.